



важаемые читатели,

взрослые и маленькие!

«Искусство вечно, а жизнь коротка» – это древнее печальное изречение не выходило у меня из головы во время работы над 9-м выпуском.

– Кошмарный високосный год! – посетовал литератор Генрих Шмеркин, говоря о смерти поэта из Кёльна Генриха Каца, и удивился, когда услышал, что нынешний год не високосный, а самый обычный. Но насчёт кошмарности мой собеседник, несомненно, прав: за какие-то полгода ушли из жизни балерины Ольга Лепешинская и Екатерина Максимова, дирижёр Борис Покровский, писатели Лев Лосев, Василий Аксёнов, Андрей Кучаев, Юрий Каплан, певица Людмила Зыкина, балетмейстер Пина Бауш... Список неполный и, боюсь, неокончательный. Просто мор какой-то...

Весной этого года не стало также Алексея Парщикова – поэта, который умер, по нынешним меркам, молодым и которого ещё при жизни называли гением. Стихами Парщикова открываются альманахи, ему же посвящены отзывы литераторов.

Не всё, конечно, так печально. Слава Богу, живёт и здравствует замечательный русский поэт Дмитрий Сухарев. Моё интервью с ним – в этом номере.

Судьба свела меня с интересным, живущим в Германии, человеком – дипломатом и писателем Эрнестом Обминским, с воспоминаниями и ироническими стихами которого вы познакомитесь.

Как я и обещал ранее, вы сможете прочесть здесь иноязычную прозу (Фанни ван Даннен, перевод с немецкого Александра Барсукова) и статью об искусстве перевода (Лев Беринский).

Несколько необычно выглядит в этот раз рубрика «Литкафе». На чашечку кофе заглянули исключительно донетчане – члены литературного клуба «12+1».

В разделе для детей вы прочитаете окончание повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем» и стихи замечательного поэта Михаила Яснова.

География писателей, приглашённых на страницы «Семейки-9»: Германия, Израиль, Россия, Украина.

Всех вам благ. Живите долго.

Составитель

Стухи



и проза

Алексей ТАРЩИКОВ

Кёльн, 1954 – 2009

Родился в поселке Ольга под Владивостоком. Жил в Киеве, Донецке, Москве, Швейцарии, США, Германии, учился в киевской Сельскохозяйственной академии, окончил Литературный институт (1982) и аспирантуру Стэнфордского университета (МА, 1993). Первая крупная публикация – поэма «Новогодние строчки» в журнале «Литературная учеба» (1984). Переводил поэзию с английского, украинского и других. Один из лидеров поэтической «новой волны» конца восьмидесятых годов, лауреат премий имени Андрея Белого (1987) и «Живая легенда» (2005). Произведения переведены на многие иностранные языки.



«Алёша, Вы – поэт абсолютно уникальный по русским и по всяким прочим меркам масштаба».

Иосиф Бродский

«...каждый предмет зримого мира он старается рассмотреть по-своему, оценить поэтически, переосмыслить и полюбить заново».

Виктор Соснора

Элегия

О, как чистокровен под утро гранитный карьер
в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки,
когда после игрищ ночных вылезают наверх
из трудного омута жаб расписные шкатулки.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком
их вечнозелёные, нервные, склизкие шкуры.
Какие шедевры дрожали под их языком?
Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом,
и ядерной кажется всплеска цветная корона,
но любят, когда колосится вода за веслом,
и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

В девичестве – вяжут, в замужестве – ходят с икрой;
вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох.
А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Лиман

По колено в грязи мы веками бредем без оглядки,
и сосет эта хлябь, и живут ее мёртвые хватки.

Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки,
словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест,
как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,

только все это блажь, и накручено долгим лиманом,
по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
на земле и на небе – не путь, а одно перепутье,

в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи
на любую из точек вселенной, известной до дрожи,

только вывих тяжелой, как спущенный мяч, панорамы,
только яма в земле или просто – отсутствие ямы.

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь – в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

К Василию Чубарю

Как впечатлённый светом хлорофилл,
от солнца образуется искусство,
произрастая письменно и устно
в Христе, и женщине, и крике между крыл.

Так мне во сне сказал соученик,
предвестник смуглых киевских бессонниц,
он был слепой, и зёрна тонких звонниц
почуял, перебрав мой черновик.

Я знал, что чернослив и антрацит
один и тот же заняли огонь,
я знал, что речка, как ночной вагон,
зимой сходит с рельс и дребезжит.

Да, есть у мира чучельный двойник,
но как бы ни сильна его засада,
блажен, кто в сад с ножом в зубах проник
и срезал ветку гибкую у сада.

Славяногорск

Это маковый сон: состязание крови с покоем
меловым, как сирена. И чудится: ртутный атлас
облегает до глянца пространство земли волевое,
где вершится распад, согревающий время и нас.

Там катается солнце – сей круг, подавившийся кругом,
металлический крот, научившийся верить теням,
и трещит его плоть, и визжит искрородно под плугом,
и возносится вверх, грохоча по дубовым корням.

Дважды шлах был повторен и время повторено дважды.
Как цепные мосты, повисая один над другим,
шли колонны солдат, дребезжали оружием миражным:
кто винтовкой, кто шпагой, кто новеньким луком тугим.

Пробирались туда, где скалистый обугленный тигель
гасит весом своим от равнин подступающий зной.
Здесь трудились они, здесь они на секунду воздвигли
неприступный чертог, саблезубый собор навесной.

Сцена из спектакля

Р.Л.

Когда, бальзамируясь гримом, ты полуодетая
думаешь, как взорвать этот театр подпольный,
больше всего раздражает лампа дневного света
и самопал тяжёлый, почему-то двуствольный.

Плащ надеваешь военный – чтоб тебя не узнали –
палевый, с капюшоном, а нужно – обычный, чёрный,
скользнёт стеклянную глыбой удивление в зале:
нету тебя на сцене – это всего запрещённой!

Убитая шприцем в затылок, лежишь в хвощах заморозки –
играешь ты до бесчувствия! – и знаешь: твоя отвага
для подростков – снотворна, потому что нега –
первая бесконечность, как запах земли в причёске.

Актёры движутся дальше, будто твоя причуда
не от мира сего – так и должно быть в пьесе.
Твой голос целует с последних кресел пьянчуга,
отталкиваясь, взлетая, сыплясь, как снег на рельсы...

Пётр

Скажу, что между камнем и водой
червяк есть промежуток жути. Кроме –
червяк – отрезок времени и крови.
Не тонет нож, как тонет голос мой.

А вешний воздух скроен без гвоздя,
и, пыль скрутив в горящие девятки,
как честь чужую бросит на лопатки,
прицельным духом своды обведя.

Мария, пятен нету на тебе,
меня ж давно литая студит ересь,
и я на крест дарённый не надеюсь,
а вознесусь, как копоть по трубе.

Крик петушиный виснет, как серьга
тяжёлая, внезапная. Играют
костры на грубых лирах. Замолкают
кружки старух и воинов стога.

Что обсуждали пять минут назад?
Зачем случайной медью похвалялись,
зачем в медведей чёрных обращались
и вверх чадящим зеркалом летят?

Бегство 1

Душно в этих стенах – на коснеющем блюде впотьмах
виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист в пузырях.

В вазах – кольца-шмели с обезьяньими злыми глазами.
Отхлебнуть, закурить на прозрачном аэровокзале.

То-то скулы в порезах бритья – не ищи аллегорий –
утром руки дрожат, нету вечера без алкоголя.

Это Патмос ли, космос в зеркале, мои ли павлинии патлы?
Со стремянки эволюционной тебя белые сводят халаты.

Будешь проще простого, хвостатый, а когти, как лыжи.
Разве, как на усищах гороха качаясь, мы стали бы ближе?

Вынь светила из тьмы, говорю, потуши в палисаде огни,
на прощанье декартовы оси, как цаплю, вспугни.

Словно славянским мелом, запятнан я миром, в залог
я крутой бесконечности сдался и стал – велоног.

Взлёт. Мигалка стрижёт фюзеляж, отдаваясь в чернотах иглой.
Подо мною Урал или Обь, – нет тебя подо мной.

Вот и Рейнике остров, и остров Попов, и пролив Старка.¹
Тот, кто движется, тот и растёт, огибая источники страха.

¹ Географические названия зоны залива Золотой Рог во Владивостоке.

Из пучины я вынес морскую звезду и вонзил в холодный песок.
Словно рядом с собою себя же ища, она станцевала рок,

стекленея, кривую лелея в каждом тающем жесте.
В центр я её поцеловал: она умерла в блаженстве.

Бегство 2

Пыль. Пыль и песок. Медленно, как
смятый пакет целлофановый шевелится, расширяясь,
замутняется память. Самолёт из песка
снижается, таковым не являясь.

В начале войны миров круче берёт полынь.
В путь собираясь, я чистил от насекомых
радиатор, когда новый огонь спалил
половину земель, но нас не накрыл, искомых.

Пепел бензозаправки. Пыль и прибор. Кругом –
никого, кроме залгавшегося прибора.
Всадник ли здесь мерцал, или с неба песком
посыпали линию прибора...

В баре блестят каблуки и зубы. Танец
тянется, словно бредень в когтях черепахи. Зря
я ищу тебя, собой не являясь,
нас, возможно, рассасывает земля.

Бегство 3

Саше Чернову

Кто утром меня через город провёл за собой?
За стол усадил в привокзальном дворе, стол – пять досок.
Бутылка чудесная! Хрустнула пробка с резьбой.
Ходит кадык, будто со стыками рельс я разделил глоток.

Тыквы на тыне. Казалось мне, эликсир
слабоумья – в картошке. Нет, в тыкве, сходящей на бас!
Внутренний пламень неясный в ней колесит,
мякоть, как пальцы, она загибает, чтоб сосчитать нас.

Далее – ящики с молоком. Молочные ободки
зыркнули эллипсами, когда покачнулись бутылочные штабеля.
Формы сохранены взаимностью и себе вопреки.
Бездна снует меж вещами, как бешеные соболя.

Ящик ажурный, отброшенный, резко пустой.
Полный своей испарённостью. Гвозди в доске.
Дух неизбежности кучился всюду простой,
проще, чем будут продавлены крышечки на молоке.

Мы ощутили, а может, догнали потом –
нами прошла расширяющаяся ось,
словно океанических пастбищ лёгкий планктон,
солнце посасывая, ворочаясь среди толщ,

нами прошли (ничего мы не знали о них),
нами прошли беспризорники сердца в тиши,
в наших телах, в этих чуточках мира затих
гул их шагов... я давал им питьё и гроши...

Шли. И горела на них искушённая пыль.
Последний вдруг задержался, и глянул на нас в упор.
Выл ристалищный ветер. Я с ними пошёл, как был,
в край пунктуальных птиц, в свет перелётных гор.

О, сад моих друзей

О, сад моих друзей, где я торчу с трещоткой
и для отвода глаз свищу по сторонам,
посеребрим кишки крутой крещенской водкой,
да здравствует нутро, мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но кратны
распахнутой земле, чей треугольный ум,
чья лисья хитреца потребует обратно
безмолвие и шум, безмолвие и шум.



3 апреля 2009 года от поэта Лёвы Беринского пришло мне сообщение: «Ночью умер Лёша Парщиков».

Что у Алексея какие-то проблемы со здоровьем, я знал. Что он болен смертельно – нет...

Написал письмо его близкому другу Диме Фаншелю. Получил ответ.

Демьян ФАНШЕЛЬ

Я только что от них: там, кроме жены, приехал старший Лёшин сын, Тимофей (показал ему ранние фото Лёши и его же заметки к ним в «Диком поле»: похоже – очень заинтересовался). Катя – вообще: беспокоимся за её здоровье – в таком она состоянии. Мы со Светой их только вечером привезли из аэропорта – поэтому и не отвечали.

Володя, сейчас много писем – с тем же вопросом. А сил уже – никаких. Не обессудь: буду всем отвечать копией первого письма. Вот всё, что могу: Лёша болел – последние года три. Велел никому не сообщать (о том, что это – злокачественное). Знали, кроме Кати, только я, Света и, пожалуй – всё. Последний год был – без голоса, с трубкой в горле. Вспоминал всё Вен. Ерофеева. Но только после каждой операции – быстро восстанавливался, держался. Прошлым летом – всё с той же трубкой в горле – махнули с ним вдвоём велосипедами вдоль Рейна, в горы за Бонном. У-ух! (Ему – как волку в сказке – «выковали серебряное горло»: прекрасный волчий хрип). Я еле угнался. Ещё полгода тому собирались и этим летом повторить, не терял бодрости.

Умер он, как сказал врач, легко, во сне, от эмболии.

Я теперь по-другому смотрю на один стишок 2000 года. Тогда Лёша получил грин-карту и решал: не свалить ли ему окончательно в Штаты. И тогда же подарил свой сборник с рентгеновскими (?) снимками. Вот – преамбула.

Главное – по-другому смотрится теперь этот мой стишок, где насчёт «тяжеловатой головы» – которую «не сносить». Именно там и начала расти беда.

Горло, шея, от операций становилась всё слабее, тоньше. Голова казалась всё тяжелей.

Лёшу жалко.

Алексею Парщику

Стих белый – белою вороной?
Куда уж хуже (сто потов
Сойдёт, чтобы не проворонить) –
Тот, чёрный, шайкою котов,
Что лишь, брезгливо-аккуратно,
В взлохмаченный порядок слов
Войдёт, – всё симметрично, кратно, –
Беда! И снова жди послов.
Те – стайкою кордебалетной,
Те снова – по цепи кругами...
Лишь в книге с клиникой скелетной
Их сокрушают сапогами.
А дальше – лязгом, чётким близким, –
До ломоты в висках, «тройчатки» –
И не мяуканьем английским –
Германской сумрачной брусчаткой, –
Он за метафору зашёл.
Он смыслу намертво обучен.
Как шрифт готический закручен.
Как викинга ладя тяжёл.
Атлантика – как Атлантида

Обратная – встаёт из вод:
Стеклянные кариатиды
Пока подержат небосвод.
В Европе что, на курьих ножках,
В курной (а всё ж родной) избе, –
Помазано? Ну, – на дорожку!
Здесь, парень, не сносить тебе
Тяжеловатой головы
Патриция времён упадка...
Компьютер – как киот вдовы,
Как длинная рука Москвы, –
В углу мерцающий лампадкой.

2000

Сын словесника

Матвею Парщикову

На диван, ну прошу!, на диван,
С толстой книгой немецкой, с ногами:
Там, где шаркающими шагами –
Трёх царей-пастухов караван.

Где рассказчик, себе на уме,
Тёзке сказ бормоча от Матфея
(С иллюстрациями), умел,
Гласом хрипнувшего котофея,

Золочеными кудрями над
(То, что умник, двухлетнее чудо
Будет к старости припоминать:
«Здесь? Теплее... Теплее. Откуда?») –

На всю жизнь, в десять с чем-то минут,
На диванчике, бедно ли, худо
(Что, не переживай – помянут:

«Нет. А всё же: откуда?..»), – покуда
Усыпляется маленький Мук,
На ночь сказкою: «Долго ли, скоро ли...»
(Весом золота давит на звук
Слов в волчином серебряном горле):

«Агнец», «ясли», картинка, клише –
Как на чистом листе, на верже –
На английском, немецком, на русском.
На словесниковом малыше
Свет. Трёхсвечник с сиянием узким.

Промелькнула безумная «ять».
Шрифт готический. Смыслы размыты.
На стене, как три слова, горят –
В полки вогнаны – три алфавита.

2008



Дмитрий ДРАГИЛЕВ

Он ушел в ночь на пятницу, будто перешагнул на минус-корабль из своего знаменитого стихотворения. Цифра пятьдесят четыре оказалась судьбоносной. Родившись в 54-м году в поселке близ Японского моря, он умер в возрасте пятидесяти четырех лет в рейнском городе Кёльне. 3 апреля не стало Алексея Максимовича Парщикова – выдающегося русского поэта, одного из самых блестящих теоретиков современной культуры, создателя новой метафорической школы в поэзии. «Поэзия – акт по обживанию тобою же самим открытого», – отмечал Алеша. Открытое им я бы поставил в один ряд с наиболее смелыми открытиями науки, теми, что расширяют и меняют наши представления о мире, дарят потрясающие возможности совершенно нового восприятия и постижения. Казалось, каждым словом он сообщал читателю: вот каков наш мир, вот он, откройте окно и посмотрите незамыленным глазом, ведь этот старый мир все еще дает поводы и пищу для размышлений, вдохновляет и провоцирует нас. Его стихи символизируют космический универсализм, радикальное новаторство без разрыва с «классическими» традициями изящной словесности, эвристический взгляд и обнаженное подсознание, метафизическую многомерность, фантастическую энергетику и динамику метафор. Парщиков говорил: «Слово – каркас значений, а не воплощение того, что мы воображаем о нем. И наполняется и пустеет оно за счет человека». В преддверии пасхальных недель уходят лучшие. Вечная память поэту и другу.

“Русская Германия” № 15 за 13-19 апреля

Евгений ХАГАН

Смерть Парщикова

*Письмо отцу Алексея – профессору М.И. Рейдерману
и сыну поэта – Тимофею Парщикову – тоже: поэту,
от Евгения Кагана – тоже: поэта (по настойчиво и
многократно повторяемому определению Алексея)*

*...я вознесусь – как копотъ по трубе
Алексей Парщиков (И книги «Ангарты»)*

Всё – отошло: НЛО;
жёны; ангары; мангалы.
...Сколько энергий ушло –
чтобы глаза – не мигали?!..

Выхлоп! Торжественный залп.
И – в карауле почётном
замерли: мета-друзья,
боги, лягушки; трещотка...

Звёздных полвека своих
(кто б мог – такое! – подумать?! –
только и время, творить!) –
лишь загадал, – да и... умер.

Гений – улётной! – шизы!
Ввинчиваний – вечно-вещих.
...Где? – подкачали – шасси, –
экспериментщик-разведчик?

Истина: правда? – в вине?
В чувстве вины? В чувстве смерти?
...Умерло что-то – во мне.
Сдох я сегодня на четверть.

Люди живут до ста лет?
Только – к чему?!
(Не смешите!).

...Парщиков.
То есть: поэт.
Парщиков.
То есть: мыслитель.

Я его очень любил.
(Хоть: со своей – колокольни...).
...Нынче преставился в Кёльне
гений – потенциал... любых!

...Белые! – клавиши – брал!
Чёрной – не знал пол-октавы.
Зайцев же – взглядом – сшибал
в поле-рояле Полтавы.

В пале-рояле друзей –
Саде поэтов и – рая –
лишь от метафор – шизей,
рифмами перебирая...

Жизнь – отошла сквозь ушко
сжатой клешни на петлице.
...Чтоб хлорофилл впечатлился, –
сколько! – энергий ушло?

...Замер – безгрешный! – отец.
Батюшка сбился на шёпот.
И – безутешная! – ТЭЦ –
белую! – приняла копоть.

9 мая 2009 г.

Даниил ЧКОНΙΑ

Умер поэт Алексей Парщиков

В нынешнем мае Алёше должно было исполниться 55 лет. Он долго и упорно сопротивлялся тяжелой болезни, продолжал творить, строить планы, беспокоиться о судьбе младшего трехлетнего сына.

Парщиков, один из создателей поэтического течения «метареализм», был знаменитым автором, его творчество изучалось на кафедрах славистики американских и европейских университетов, было предметом жарких споров между российскими критиками и литературоведами, порой впадавшими в крайности преувеличенных восторгов или неприятия. Но у него было множество преданных читателей. А еще были друзья, которые могут сказать о нём как о человеке невероятной теплоты, сердечности, душевной нежности.

Он просто не умел быть злым, на враждебность и несправедливость реагировал с достоинством философа, прощающего человеческие слабости, к проявлению глупости относился с легкой необидной иронией, похмыкивал. Умел быть ненавязчиво откровенным и располагал к откровенности и доверию других.

Щедро одаренный и яркий, он своим творчеством ещё будет вызывать споры и дискуссии, и время определит его место в русской поэзии. Но одно остается несомненным: от нас ушёл не только талантливый, но и ещё и очень хороший, дорогой близким и друзьям человек!

Сколько раз, готовя к изданию новую свою книжку, я по телефону жаловался Лёше, мол, нет подходящей фотографии. «Выбери не самый солнечный день, чтоб нужная была контрастность – посмеивался он, – и приходи, сделаю отличную фотографию!» Многие ведь и не знают, что Парщиков был классным фотомастером. И я заранее радовал

ся, что выйдет книжка, а в ней будет мой портрет работы Алексея Парщикова, знаменитого поэта! Повседневная суэта, бег времени, самооправдание, мол, ладно, обойдусь какой-нибудь фоткой, вот в следующий раз... Не будет у меня фотографии его работы. Останется только место в душе, где будет жить память о тихой Лёшиной улыбке.

«Партнёр», 2009, 5



Хоронили Алексея Парщикова 7 апреля. А накануне, 6-го ночью, в Италии произошло разрушительное, с многочисленными жертвами землетрясение, о котором с особой тревогой говорил на похоронах прибывший из Рима в Кёльн давний Лёшин друг Александр Сергеевский. Случайное это совпадение – похороны поэта и накануне землетрясение – связалось для меня воедино. Впрочем, случайное ли? Последняя книга Алексея Парщикова называется – «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В БУХТЕ Ц»...

В.А.

Николай ЧАЙКОВСКИЙ

Горловка

В зелёной моей юности, придя в литкружок при донецком ДК имени Ивана Франко, которым руководил поэт Павел Шадур, я был покорён образными, уже тогда очень зрелыми стихами студента музучилища Коли Чайковского.

Сейчас Николай Васильевич – руководитель известного в его краях фольклорного ансамбля и автор нескольких книг стихов, многие из которых написаны в те далёкие 60-е–70-е.

На баштане

Я иду по зелёным планетам,
По оранжевым, жёлтым мирам.
Он весь в зарослях цвета и света,
Изумрудный над ним мираж.

Осторожно в пространствах ступаю,
Чтоб не хрустнула вдруг под ногой
Или дыня – луна золотая,
Или арбуза шар огневой.

Вот курень – здесь конец мироздания.
Бог в толстовской рубахе и бос.
Он ножом свои режет создания
И гоняет навязчивых ос.

Сумрак синькой мазал стёкла,
Плыл в зелёные поля.
Небо звёздные бинокли
Наводило на меня.

За картофельной грядкою
Огнекрылые жуки
Золотой неслись ордою,
Обжигая лепестки.

Я в коробку из-под спичек
Заключал их целый рой.
Драгоценную добычу
Я в кармане нёс домой.

Открывал я их, как чудо.
Дед же высечь обещал.
И тогда я ими уток
С сожаленьем угощал.

И теперь мне часто снятся
Золотые те жуки.
Перестал мой дед ругаться.
Стали звёзды высоки.

На шестах ожерелья из рыб,
С перекладин свисают сети.
Лодку чёрной смолой старик
Обливал на рассвете.

За ночь море слегка улеглось,
Точно рожь голубая под градом.
Только ветер опустит весло
И поднимется рожь обратно.

И уйдет на рассвете старик
В чёрной лодке в солёное море.
Он накосит серебряных рыб
И смолистую лодку накормит.

А наутро опять на шестах
Ожерельями рыбу развесит.
Будет ночью ходить по пескам
И считать их, как чётки, месяц.

Моряна

В нечеловеческой тоске
Швыряла волны на берег моряна
И бились рыбы на песке,
Отвергнутые морями.

О, это бешенство ветров
Мне в суете людской знакомо,
Когда ни книги, ни законы
Наш не спасут уютный трон,

Когда безумье самовластно
Распахивает настежь дом,
Заполонят вдруг сердце страсти
И всё перевернут вверх дном.

Потом раскаянье карает,
А мы сидим в тоске
И видим: чувство умирает,
Как рыбы на песке.

Как пепел на пламя,
Как тень на предмет,
Тряпица на знамя,
А сумрак на свет,
Как смертная мука
На голос живой, –
Похожа разлука
На встречу с тобой.

Живу на полуправде,
Держусь на полулжи.
От полупоцелуев
В душе одни ножи.

Стихи от полуслова,
От полувздоха плач,
Топор от полувзмаха
Освободи, палач!

От храма скитаясь до храма,
От тихой до тихой воды,
Идём, не меняясь ни грамма, –
Хоть заново нас породит!

Не станем ни хуже, ни лучше...
И, если воскреснем, опять
Жизнь примем за радостный случай,
За случай поесть и поспать.

Какая радость встретить родничок,
Когда тебя по свету поносило,
Когда нещадно солнышко печёт
И на исходе жизненные силы.

Какое счастье пересохшим ртом
Припасть к нему, как к женщине любимой,
И долго пить, не думая о том,
Что жажда эта ввек неутолима.

С ладоней зноем выжженных долин
Когда бы мы, измучившись, не пили –
И родники б, наверное, не били
Из никому неведомых глубин.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Харьков

ФОКУС

Фокусник привычно рассовал по карманам фрака двух белых кроликов ангорских, кота сиамского, дюжину белых мышей, морскую свинку, попугая какаду, пять колод игральных карт, рулон ситца, моток колючей проволоки, два десятка куриных яиц, бутылку шампанского с двойным дном, стартовый пистолет и подзорную трубу. Затем посмотрел в зеркало. Фрак сидел идеально. Тогда он взял цилиндр, поставил в него аквариум с золотыми рыбками, клетку с канарейкой, часы с кукушкой, водрузил цилиндр на голову и сдвинул его слегка набекрень. Еще раз посмотрел в зеркало, изящным жестом поправил бабочку, запихнул выглянувшего было из-под воротника *Boa constrictor*, достал из левого уха платок, высморкался, скомкал его, дунул, превратив в чайную розу, вставил ее в петлицу и пошел на выход.

Когда на арене прогремело его имя, он расшвырял занавес и, тут же схваченный мощными лучами прожекторов, выскочил на середину арены, вскинул руки и стал дожидаться, когда стихнут аплодисменты.

Барабан рассыпал нервную дробь. Фокусник хлопнул в ладоши, крикнул: «Ап!» – и... совершенно неожиданно для себя и всех окружающих исчез.

Зал долго и неистово аплодировал, но Фокусник на арене больше не появился. Конферансье удалось отшутиться, и публика поверила. После представления обыскали весь цирк, но Фокусника не нашли. Позвонили жене. Домой он не приходил. Вызвали милицию с собакой. Собака обнюхала место, где он стоял, задрала морду под купол и завывала.

Прошел месяц. В город понаехали специалисты. Работали они напряженно и, надо отдать им должное, быстро и уверенно развенчали это так называемое чудо, объяснив произошедшее как вполне обычное аномальное атмосферное явление.

Цирковой сторож утверждал, правда, что в этот злополучный день видел зависший над цирком неопознанный летающий объект, но так как он был человеком пьющим, то ему, конечно, никто не поверил...

День был сизый, как небритая щека. Вечерняя заря вlepила ему багровую оплеуху, оставив на краю неба длинную алую царпину. Тучи сползли за горизонт, небо очистилось, и пришел вечер – неторопливый и душевный собеседник.

В городском парке на летней площадке оркестранты приложились к мундштукам и вопросительно глянули на капельмейстера. Капельмейстер приподнялся на цыпочки, взмахнул рукой и... «Бум-ца-ца, бум-ца-ца, бум-ца-ца...»

Дом, в котором жил Серафим Гаврилович Красоткин, находился далеко от парка, но звуки музыки долетали и сюда. Труб, правда, не было слышно совсем, но зато доносилось гупанье барабана, будто кто-то вдалеке методично выколачивал ковры. Серафим Гаврилович, облокотившись на подоконник, любовался голубями. Наконец, это ему надоело, и он, закрыв окно, включил телевизор. Возникший на экране могучий, как лес, трехъярусный хор беззвучно открывал и закрывал рты. Серафим Гаврилович дал громкость. «И непрерывно гром греме-е-е-сл!» – рявкнул хор так, что Серафим Гаврилович подпрыгнул и поспешно убавил звук. «...И в дебрях буря бушевала», – более миролюбиво продолжил хор.

Вообще говоря, с самого утра Серафим Гаврилович не находил себе места. Чувство восторга сгребло его за душу, приподняло и более уже не отпускало ни на минуту. Ему все время хотелось куда-то бежать и голосить на весь белый свет, но он сдерживался. «Кто его знает? – говорил ему внутренний голос. – А вдруг мне это все привиделось?» Наконец, справедливо решив, что сдержанность в излиянии чувств пагубна для здоровья, он сел за письменный стол и подпрыгивающими буквами начертал: «Вчера утром я подарил человечеству величайшее открытие!»

Познакомились они в помойном ведре. Через пять минут им казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Через десять

минут они бешено кружились под потолком вокруг лампочки. Она от него убегала, он ее догонял. Там же, на потолке, он сделал ей предложение. Через час, изнывая от страсти, они упали на письменный стол, чем вывели из летаргического состояния сидящего за ним человека, который ленивым щелчком сшиб влюбленных со стола...

К вечеру она овдовела, с ужасом глядя, как ее суженый, судорожно дергая лапками, погружался в приторную трясику вишневого киселя. А потом наступили сумерки, и она, вцепившись в портьеру, затихла.

Пауку плести паутину – дело плевое, если учесть, что паутина является подобием клейкой слюны. Вот и в данном случае, выйдя на вечернюю охоту и заметив дремлющую на портьере муху, паук повел себя самым обычным для этого вида насекомых образом: развесил слюни и стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Дверь в комнату отворилась. Щелкнул выключатель, зажегся свет, и на пороге появился седенький старичок. С озабоченным видом он начал осматривать комнату. Наконец взгляд его остановился на портьере, глазки блеснули, и старичок, втянув голову в плечи, с хитрой улыбочкой начал тихохонько подкрадываться к мухе.

Паук испуганно перебежал на другой край паутины. Не обращая на него ни малейшего внимания, старичок подкрался к мухе совсем близко, замер на мгновение и ловко смахнул ее с портьеры в кулачок. Затем, приложив его к уху, довольно захихикал и шаркающей рысью засеменил в другую комнату.

С досады великой паук рухнул вниз, но, не долетев до пола, повис, раскачиваясь на паутине.

В комнате старичок взял баночку из-под майонеза, посадил в нее муху и закрыл крышкой. Затем достал флакон с пульверизатором, приподнял крышку, просунул трубочку пульверизатора в баночку и опрыскал муху какой-то гадостью. Несколько секунд муха бешено колотилась о стекло, затем шлепнулась на дно, скрючила лапки и затихла. Старичок удовлетворенно хмыкнул, посмотрел на часы, засек время и стал ждать, делая в тетради какие-то записи.

Через несколько минут муха шевельнулась и начала медленно приходить в себя, как после глубокого обморока. Старичок

открыл баночку и вытряхнул муху на газету с жирным заголовком «Фокус с фокусником, или Куда девался заслуженный артист республики?» Муха вяло проползла пару сантиметров и остановилась. Старичок тихонько коснулся ее спинки пальцем и ласково приказал: «Ну, голубушка, рассказывай!»

«А что, собственно, рассказывать?» – услышал он тонюсенький печальный голосок. «Ну, если так уж интересно... – муха тяжело вздохнула. – Познакомились мы, значит, с ним в ресторане...»

«Так, так», – заинтересованно сказал старичок, подпер щеку ладонью и стал внимательно слушать.

В наше время изобретательство перестало быть уделом одиночек, потому что над проблемами, с которыми они прежде успешно справлялись, ныне безуспешно бьются целые научные коллективы.

Серафим Гаврилович Красоткин, маленький седенький старичок, был как раз представителем ранее многочисленного, а ныне почти вымершего племени изобретателей-одиночек. Племени, которое, смело отбросив опыт предыдущих веков, пренебрегая достижениями современной науки, искало свои пути, создавало свои оригинальные теории и охраняло свою самобытность, как заповедный дремучий лес.

Однако заглянем в прошлое.

Еще в школьные годы мальчик Сима обнаружил в себе непреодолимое желание на уроках химии сливать все реактивы в одну пробирку, дабы получить НЕЧТО. «Подумаешь, – скажете вы. – Кто этим не переболел!» Переболели-то многие, а вот выздороветь удалось не всем.

Химиком Серафим Гаврилович так и не стал, более того, основная его профессия была чрезвычайно от этого далека, но страсть сливать всё в одну пробирку осталась. Творческое и научное кредо его сводились к изречению: «Изобрести – дело нехитрое. Главное – найти этому применение!» Так, например, изобретая жидкость для выведения пятен с одежды, он получил вещество, отстирать которое было невозможно. «Не беда, – рассуждал Серафим Гаврилович. – Этим вещест-

вом можно вымазать заборы вокруг секретных объектов, и злоумышленники при попытке проникнуть на них окажутся мечеными». Однако жидкость быстро сохла, теряя свои замечательные пачкающие свойства. Тогда Серафим Гаврилович, продолжая эксперимент, опрыскал этим составом тараканов, полил цветы, добавил себе в пищу, смазал дверные петли и некоторое количество тайком подлил соседу в бензобак его «москвича». Результаты эксперимента обернулись: витамином для тараканов, ядом для цветов, слабительным для желудка, ржавчиной для петель и угрозой физической расправы со стороны соседа.

Совершить открытие, позволяющее назвать его своим именем, было заветной мечтой Серафима Гавриловича, и поэтому в пику вариатору Светозарова, болезни Паркинсона, закону Гей-Люссака, эффекту Шредингера, коэффициенту Пуассона и «Пляске святого Вита» им был создан «Бальзам Красоткина», не получивший, правда, широкой известности. Зато соседи охотно пользовались им как сосудорасширяющим, особенно в праздники. Не оценен до сих пор парфюмерами и «Стереоэффект Красоткина», заключающийся в одновременном вдыхании правой ноздрей одеколона «Шипр», а левой – духов «Сирень».

Впрочем, оставим его дальнейшее жизнеописание и вернемся в то достопамятное утро, которое не предвещало, казалось, ничего чрезвычайного, в то самое утро, когда Серафим Гаврилович решил дать клопам последний и решительный бой. «Чего уж проще! – скажете вы. – Купил дихлофос, попищал – и дело с концом!» Ан нет! Не таким человеком был Серафим Гаврилович. Три дня колдовал он в своей домашней лаборатории и, наконец, составил совершенно невероятную смесь. Перечислить входящие ингредиенты не представлялось возможным, ибо Серафим Гаврилович и сам их не помнил, а записи в этот день он почему-то не делал. Впоследствии, мучительно вспоминая состав, он выявил, что последней влил мозольную жидкость.

Итак, вооружившись флаконом с пульверизатором, Серафим Гаврилович решил начать со старого стула, в пазах кото-

рого было множество укромных местечек, столь излюбленных кровососущими насекомыми. Опрыскав стул, он направился было к дивану, как вдруг совершенно отчетливо услышал гнусавый голосок: «Опрыскал таки, черт старый! Теперь от меня все, как от зачумленного, шарахаться будут! Ну чего глядишь? Клопа, что ли, живого не видел? ... Эй, да ты меня сейчас...»

Серафим Гаврилович поднес палец с раздавленным на нем клопом поближе к глазам, долго смотрел на него, затем понюхал, брезгливо сплюнул и недоуменно прошептал: «Клоп...»

Из недоумения его вывел громкий скрипучий голос, исходящий из старого стула: «Батюшка-то ваш, Серафим Гаврилович, должен вам сказать, был тяжелый человек. Да-с. Бывало, сядет, так не поверите, ножки прогибались. Вот и трещина у меня от того на правой задней ножке. А матушка у вас была – ну прямо ангел небесный. Бывало, сядет – и не слышно. А вы, сударь, в матушку уродились, потому до сих пор и стою-с». Далее стул повел рассказ о производстве мебели в дореволюционной России, но Серафим Гаврилович его не слышал, так как находился в обмороке.

Очнувшись, он пополз к серванту, трясущимися руками извлек бутылочку «Бальзама Красоткина» (капли Зеленина, мазь Вишневского, разведенные на зубном эликсире) и вместо двадцати капель хлебнул половину содержимого флакона. Затем, стуча от страха зубами, сел на диван и стал слушать.

Через час стул начал запинаться, затем говорить с большими паузами и, наконец, совсем умолк. Серафим Гаврилович осторожно подошел к нему и внимательно обследовал. Обследование не выявило ничего необычного. Стул как стул.

Тогда Серафим Гаврилович выпил оставшийся бальзам, сел на диван и стал анализировать...

В это же самое время Фокусник болтался в межпространственном тоннеле, в городской картинной галерее был обеденный перерыв, а на другом краю галактики некто собирался идти в магазин за хлебом...

Жил-был Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз. Все нормальные дети обладали какими-то особыми талантами:

кто умел шевелить ушами, кто – ходить на руках, кто – метко стрелять из рогатки, кто – спичку во рту гасить, а Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, свою единственную способность демонстрировать не желал. Сколько ни просили щелкнуть, всегда отказывался. «Могу, – говорил, – но еще не время».

Надо сказать, ребенком он был добрым, поэтому все любили его, жалели и передавали из рук в руки. Родители – школе. Школа – родителям. Родители – жене. Жена после тридцати лет совместной жизни не выдержала и послала его за хлебом. Детально расспросив, где это, Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, вышел на улицу в пижаме и шлепанцах – благо, было лето, – сел на лавочку и стал ждать.

Незнакомец материализовался перед ним внезапно, но не этот факт, а необычное одеяние более всего удивило Мальчика, умеющего щелкать пальцами один раз. Незнакомец испуганно озираясь по сторонам. Из одежды его посыпались какие-то бумажки, матерчатые ленты, из рукавов появились и тут же спрятались чьи-то длинные белые уши, из-за пазухи высунулась плоская голова на длинной шее, и немигающие глазки неведомого зверя нагло приказали: «Иди ко мне!» Сердито шлепнув зверя по голове и водворив его на место, незнакомец что-то жалобно спросил. «Желает знать свои координаты», – легко догадался Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, встал со скамейки, улыбнулся самым дружелюбным образом и протянул незнакомцу правую руку ладонью вверх.

Если бы Серафима Гавриловича Красоткина спросили, почему он попёрся в картинную галерею, прихватив флакон с остатками волшебной жидкости, вразумительного ответа все равно не последовало бы. В то время как на другом краю галактики Фокусник и Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, шли рука об руку к местному музею изобразительных искусств, Серафим Гаврилович слонялся по залам и выжидал удобный момент, когда можно будет опрыскать какую-нибудь картину. До закрытия галереи оставалось совсем немного времени. Красоткин никак не мог остановить

свой выбор на реалистических произведениях искусства. То его пугала перспектива получить шальную пулю с ожившего батального полотна, то страшили объятия бронзовой девушки-купальщицы. «Необходимо начать с чего-нибудь очень простого», – подумал он, входя в зал, где было представлено авангардное искусство первой половины двадцатого века. «Черный квадрат» Малевича показался ему самым привлекательным объектом. Убедившись в том, что в зале, кроме него, никого нет – дремлющую старушку-служительницу музея он в расчет не принимал, – Красоткин достал флакон с пульверизатором.

В это же самое время, на другом краю галактики Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, подвел Фокусника к не менее знаменитой картине «Белый квадрат».

Красоткин осторожно прыснул небольшое количество жидкости на картину.

Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, глубоко вздохнул и громко щелкнул пальцами. Один раз.

От черного квадрата на белом фоне резко потянуло холодом, и он заискрился мириадами далеких звездочек.

Белый квадрат на черном фоне за клубился густым туманом.

Красоткин заворожено смотрел в космос.

Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, улыбнулся и пантомимой показал Фокуснику, что в белый туман нужно прыгнуть.

Красоткин подошел поближе, чтобы рассмотреть.

Фокусник отошел подальше, чтобы разбежаться.

Из объяснительной записки работницы картинной галереи директору:

«Я, Зуева Антонина Ивановна, находясь в момент происшествия в здравом уме и продолжая находиться в нем по сей день (о чем свидетельствует справка), сообщая, что двадцать шестого июня сего года приблизительно в восемнадцать часов, находясь на рабочем месте, я проснулась от сильных криков. Открыв глаза, я увидела двух мужчин, лежащих на полу возле картины Казимира Малевича «Черный квадрат». Одному из них было на вид лет семьдесят. Рядом с ним валялся разбитый флакон из которого растеклась какая-то жидкость. Второй мужчина, лет сорока, выглядел, как денди. Из его фрака вылезли белые мыши, кролики и еще выполз удав, и все эти животные стали лакать из лужицы. Я запрыгнула на подоконник. «Что ты наделал!» – кричал старик тому, что во фраке, а тот его не понимал и все спрашивал: «Где я?» И тут все звери хором как закричат человеческими голосами: «Ты дома!» Дальше ничего не помню, потому что потеряла сознание...»

Постояв немного у картины, Мальчик, умеющий щелкать пальцами один раз, убедился, что межпространственный тоннель закрылся. Посмотрев на гладкую поверхность белого квадрата, он улыбнулся, гордясь тем, что отныне его будут величать «Открывший и закрывший тоннель один раз». Купив на обратном пути хлеба, он пришел домой, поцеловал жену и лег на диван, чтобы провести на нем долгие и счастливые годы.

Человечество так и не узнало о великом открытии Красоткина, а близкие и соседи, как и прежде, величали его Серафимом Гавриловичем.



Эрнест ОБМИНСКИЙ

Бонн

И Я УСВОИЛ... (Вместо предисловия)

Доктор экономических наук, дипломат, в прошлом – заместитель министра иностранных дел СССР Эрнест Евгеньевич Обминский в 2007 году выпустил книгу иронических стихов и рассказов «По полной программе».

– Эрнест Евгеньевич, в принципе политики с чувством юмора в природе встречаются – один только Черчилль чего стоит! Но среди советских людей этой профессии мне припоминаются все какие-то сплошь насупленные и зело серьёзные лица. Между тем, по книге видно: это не плод усилий отошедшего от дел пенсионера, а что вы писали, можно сказать, всю жизнь. Как получилось, что занятие политикой не отбило у вас охоту шутить?

– Вообще так случилось, что не я политикой, а сначала она занималась мной, давала мне уроки, возможно, таким образом готовя меня к будущему поприщу...

Донецкая область. Город Енакиево (тогда Орджоникидзе). В четыре года я как всякий ребёнок, любящий рисовать, с упоением малюю крестики на газетном (нормальная бумага – дефицит) листе, и вдруг получаю от кого-то из взрослых громоподобную затрещину. К ужасу семьи я «перекрестил» весь состав вновь избранного Политбюро! Отчётливо помню посеревшее лицо дяди Шуры: его, «вредителя на транспорте», моя мама, дойдя аж до Москвы, недавно чудом вызволила тюрьмы... Про дядю мне объяснят значительно позже, а тогда, после затрещины, я усвоил: не следует рисовать кресты на чём попало!

Новотроицк Оренбургской (тогда Чкаловской) области. Разгар войны. Я – подросток. Намереваясь внести посильный вклад в скорейшую нашу победу, написал в подражание Крылову басню: «Од-

нажды Гитлер, Гиммлер, Муссолини И члены всей их воровской малины, Задумали завоевать весь свет, Да вот в товарищах согласия нет» и т.д. и т.п. Мама, восхищенная талантами сына, отнесла этот образчик детского творчества в газету «Гвардеец труда». Редактор Марк Захарович Мельман прочитал начало басни, охнул и прошептал: «Вы с ума сошли приходить сюда с ЭТИМ?». И пояснил непонятливой маме, что нельзя применять святой слово «товарищ» к фашистским бандитам и извергам. Мама клятвенно пообещала уничтожить все экземпляры злополучной басни, и редактор согласился забыть об этой скверной истории (его, правда, потом всё равно сняли, но, слава Богу, не из-за меня). **Я же усвоил: любое непродуманное слово может дорого стоить его автору.** Но, как выяснилось, усвоил плохо...

Москва. Шестнадцатилетний провинциал, я невероятным образом, что называется, с улицы поступаю в МГИМО. В стране очередная компания: «Война – архитектурным излишеством!» Я, сын архитектора-строителя, не мог остаться в стороне и разразился опусом, который потащил прямиком в «Крокодил». Редактор отдела поэзии А. Николаев быстро пробегает глазами моё творение, где некий проектировщик требует от строителей «монументального подхода» при возведении птицефермы. «В целом нормально, – одобряет редактор. – Измените только в строфе *«Напротив же портала Воздвигнем на века Из камня и металла Фигуру индюка»* неблагозвучный *«жепортал»*... Через три дня я держу в руках вёрстку своего стихотворения и получаю от Николаева заверение, что оно будет напечатано на следующей неделе. Недели шли, а стихи мои в журнале всё не появлялись. Не выдерживаю и вновь отправляюсь в «Крокодил». «Я же, как вы советовали, «жепортал» исправил, – говорю редактору. – Что-то ещё не так?». – «Эх, – вздыхает Николаев. – Если б только это... Вот ответь, что ты имел в виду, когда писал про «индюка – на века»? Или нет, лучше помолчи...» – «Индюка и имел в виду, – удивился я, – памятник индюку!» – «Ладно, – говорит редактор, – хорошо хоть заметили до того. Иди, студент, учись, а мне – выговор снимать...». Когда до меня дошло, как в преддверии празднования 70-летия великого учителя и отца всех народов можно было при желании истолковать моего невинного индюка, мне стало нехорошо. **И я усвоил теперь уже навсегда: с политикой шутки плохи!** После чего занимался политикой

только всерьёз... А свои юмористические публикации, которые позднее всё же стали появляться в газетах и журналах страны, всегда подписывал псевдонимами: и потому, что кропателей стихков не очень жаловало моё, действительно, суровое руководство, и потому, что в некоторых моих творениях могли быть угаданы реальные прообразы, что, впрочем, однажды и случилось! Но это уже, как говорится, совсем другая история...

ВА

Камо грядеши

Дорога начинается
с порога.
Она порой
опасна и горька:
Один по ней дойдет
почти до Бога,
Другой ее закончит
у ларька.
Мы, грешные,
подвержены соблазнам
И бьемся
в безысходной западне:
Один бесплодно
ищет высший разум,
Другой находит
истину в вине.
Как далеко
уйдешь ты в этом мире –
Не в километрах
будет дан итог...
Я все к тому,
чтоб милая в квартире
Осталась
и не рвалась
за порог!

Память

На городские свалки
С утра и день-деньской
Везут машины знаки
Неверности людской:
Вот выцветшая маска,
Трехногий табурет,
И детская коляска,
И дедушкин буфет.
Вас взяли утром сонных,
Связали всех узлом
И, пряча от знакомых,
Отправили на слом.
А новые модели,
Попавшие в почёт,
Презрительно глядели
На горький ваш исход.
...На городские свалки,
Когда зарядит снег,
Бездомные собаки
Приходят на ночлег.
И, видно, был собакам
Тут кое-кто знаком –
Зачем иначе плакать
Над старым башмаком?
И, словно в детской сказке,
Конца которой нет,
Вновь оживают маска
И дедушкин буфет.
Играют радиолы,
И чайники звенят,
И, кажется, из школы
Игрушки ждут ребят.
И, кажется, износу
Не будет никому...
Спасибо вам, барбосы,
За эту кутерьму!

Поселок станционный –
Не город, не деревня,
У гипсовой колонны –
Дежурная харчевня...
Поселок незнакомый –
Десятка два хибарок,
Но даже и такому –
Не лучший я подарок.

Веронике

Жена вздохнула, стоя у трюмо:
– Неотвратимо
 времени клеймо...
Как ни крути,
 а годы под уклон...
Но, друг, учти,
 и ты – не Аполлон!
...Я рад, что даже
 в трудные мгновенья
Она во мне
 находит утешенье!

Я шепнул тебе:
«Колетта!»
Что ж услышал
я в ответ?
— Ах, месье,
но в Ваши лета

Вреден Вам
 такой обед!..
Десять лет прошло
 и что же?
Ты шепнула мне:
 «Жанно!»
Я, вздохнув, ответил:
 – Боже!
Мне в мои года негоже
 Пить прокисшее вино!

Как бы с английского

Мимо наших ворот
Проходил бутерброд –
Этот наглый гуляка и мот.
Я сказал:
 «Без забот
 можешь
 прыгнуть мне в рот».
Он ответил:
 «Заткнись, идиот!..»
Вот вам грустный пример
Современных манер.
Ну, сказал бы – мол, некогда, сэр.
Извините, мол, сэр, –
Так всегда, например,
Говорит мне красотка Эстер!

Зульфия

О, Зульфия,
 алмаз моей конторы!
Однажды, видя, как она скромна,

Я ей признался:

– Вещи есть, в которых

Меня не понимает...

– Кто?

– Жена.

– Вас не понять?

Но это так жестоко!

Что ж понимать

в мужчине ваших лет?

С утра – кумыс

или стаканчик сока,

Лепешку с сыром

можно на обед...

– О, Зульфия,

о чем, ты, в самом деле?

Шашлык бы мне!

– Мясное вредно вам...

– Но мне порой

так холодно в постели!

– А вы бы – грелку теплую к ногам,

С женой поговорите

подetailней,

Она поймет...

И горько молвил я:

– Подайте лучше

мне отчет квартальный!

...Меня не понимает Зульфия.

Жаль!

Третьи сутки

Все дожило.

Наконец, сказала Мила:

– Ты и холоден, и тощ

И к тому же этот дождь...

У других дома, усадьбы...

Сам сиди тут и балдей!..

Я подумал:

«Жаль до свадьбы
Долго не было дождей!»

В милиции

– Лишь тот оставит след в истории,
Кто нападет на нужный след! –
Сказал инспектор... И не спорю я
(Свой у мента менталитет!)

Березка

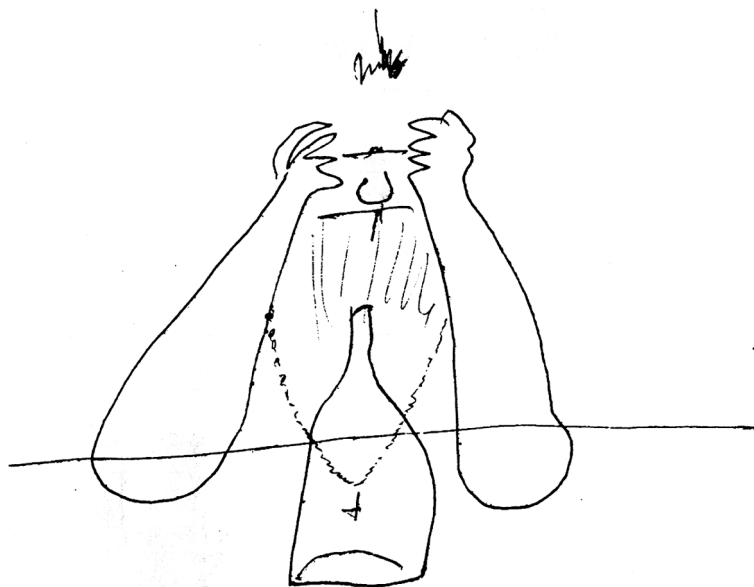
Больше всех Россию любят
Те, кто в Лондоне живут:
Как березку, приголубят
И, как липку, обдерут.

Увы!

Хоть рожден
Не в царстве тридесютом
И гонял разбитый самосвал,
Никогда я
Не ругался матом
И позором это не считал.
Но теперь,
Попав в круги элиты,
На высоком пике бытия
Что ни день
Я всем твержу: иди ты...
Дрянь элита –
И, конечно, я.

Самокритика

Кто так каялся в грехах,
Как Иван Васильич Грозный?
Называл себя он «прах»,
«Окаянный жук навозный».
Весь в крови, как лютый зверь,
Он-де всех винил в измене,
И гореть ему теперь
Век во огненной геенне...
Люди ведали тайком,
Что не впал владыка в детство,
Что под черным клобуком
Зреет новое злодейство...
И от тех далеких дней
Навсегда вошло в сознание,
Что опасней всех затей
Власти самобичеванье.



Литкафе



Здравствуйте! Вы любите стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, реальные стихи и рассказы, вы нам – ваше доброжелательное внимание: ведь авторы, даже очень самоуверенные с виду, всегда волнуются...

Согласно Уставу, в кафе каждый раз будут приглашаться всё новые и новые авторы. Прежним остаётся только место встречи. Его, как мы помним, изменить нельзя.

Добро пожаловать!

Сегодня к нам на чашечку кофе заглянули поэты, члены донецкого литературного клуба «12+1», придуманного прозаиком Майей Климовой. Образовался клуб два года назад. По задумке 12 – это авторы, 1 – благодарный читатель-слушатель. (Соотношение, вполне отражающее ситуацию с сегодняшней художественной литературой! Более того, левая сторона клубного слагаемого, вопреки названию, неуклонно растёт)...

Коротко о наших гостях.

Евгений МОКИН. Инженер-электрик. Автор книг «Пересечение местности» (Донецк, 2005) и «Зимы не надо» (Донецк, 2009).

Мария ПАНЧЕХИНА. Магистр русской филологии, выпускница филологического факультета Донецкого национального университета.

Екатерина СОКРУТА. Кандидат филологических наук.

Елена МОРОЗОВА. Программист. Книга «Соло времени» (Киев, 2004).

Олег ЮРОВ (ТЭНГУ). Физик, учитель медитации. Сборник хайку «Первенец весны», Донецк, 2002)

Евгений МОКИН

Любимая

1.

О волосы твои – венец прикосновений!
Я знаю тайну слёз, запекшихся в серьгах.
Сухим моим губам – ни времени, ни лени,
Ни влаги, ни золы, лишь пальцы, как олени,
Плутают в золотых, но пепельных лугах.

2.

Сухим моим глазам – окутываться влагой,
Оленям – вольно плыть в упругой темноте.
Лишь мне – издалека – изломанной бумагой,
Не распрямляясь, тлеть
и веровать в не те –
В неверные слова своих бесславных магий.

3.

Какой бессонный зов мне не даёт забыться
И вторгнуться огнём в покой твоих лугов?

4.

Лишь трепетная мгла качнёт твои ресницы,
Теряют высоту слепые пальцы – птицы,
Прервав на полусне последний из кругов.

5.

Я всё испортил.
Я сознался
В своей привязанности к ней.
А где-то маленький злодей
Рубил на кубики пространство.

И злой умышленник второй,
В узлы завязывая время,
Нас – полумёртвых, – как деревья,
Упорно сращивал корой.

Но, к вящей радости иуд,
Мы вместе выжить не сумеем
И ветер к осени развеет
Всё то, что птицы не склюют.

Воскресенье

С утра гремишь посудой...
Мне подниматься лень.
И день пока не судный,
Он просто – летний день.

И встать как будто надо бы,
И потянуться всласть...
А сдобой так напахнуто –
Хоть воздух целовать!

Подглядывать не велено.
Но хочется – «Ау!»...

Она всплывает медленно
С ресницами в меду.

Будущее

Наступит будущее? Вряд ли.
Сидели, как сидим.
Вопрос один – а надо ли?
А мы –
надолго с ним?

Все прошлые свидетели
Лежат.

Я номер знаю.
Мы Новый Год отметили,
А дальше – возражаю.

Не ты, не я – не суженый,
Три раза
 под венец.
Стоишь, такой простуженный,
Несчастный
 наконец.

Высота

С высоты нам не смотрят в глаза:
Им рулить –
 не упасть бы.
Нам даны на Земле образа
И прижизненные
 глаза их.

Мы не молимся, просто стоим.
Мы не просим –
 зачем им это?
Видишь? –
 падает Серафим
К нам со скоростью конца света.

Новогодняя песня

Новый Год под пробкой пенится,
Горсть горошка в оливье...
В этот день никто не ленится:
Елку сверху
 и с колен

Обряжают, как невесту,
Дождь серебряный –
фата...

Будет летом это место
Пахнуть хвоей иногда.

Бабушка

Семьдесят лет – ты
Гордая, как акация.
Фотографии от стены
Листиками отслаиваются.

Ты же рябиной была,
Пела над телом Ленина,
Позже, слезам воздав,
Высохла под Есенина.

С тополя – по коре.
С ягодки – по рябине.
Семьдесят лет – не грех.
Женщина, не реви.
Мне.

Лес

Деревья быстро забывают лес.
В их новых мыслях – новые дела:
Куда отдать – на гроб ли, на навес,
На кров ли, крест – упругие тела.

Но в стоне шпал и скрипе половиц,
В морозном треске щеп, лучин и дров
Все звуки леса: щебетанье птиц,
Зуденье ос и мерный плеск ветров.

Любовь

Соври и отвернись.
Пусть стыдно, пусть неловко...
Та женщина – как жизнь –
Твоей судьбы воровка.

Рассказывай былицы,
Ходи хоть колесом –
Она всё будет сниться
Смеющимся лицом.

Распахнуты ладони,
В ладонях – только медь...
Иди за ней –
 глаголить!
Как колокол, звенеть.

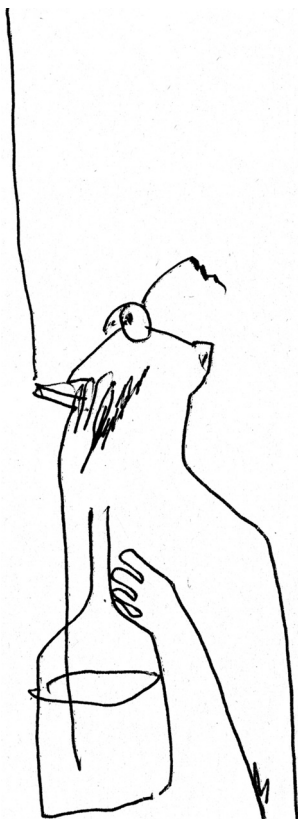
* * *

Математика утомительна
Собственными ответами.

Биология отвратительна
Смертью и совокуплениями.

Философия разлагательна
Окончательным
 алкоголизмом.

Лишь поэзию
проза – мать её –
Нам на светлые муки
 выносила!



Мария ПАНЧЕХИНА

Всадники

Может быть, и не было. Медленное движение
всё же лучше, чем смотреть несколько дней
на уходящую воду с отражением неба в ней.
Скорей всего, я не найду предлога рассказать,
какой бывает дорога, если её ищут твои глаза,
лишённые блеска; каких-нибудь признаков ещё.
Есть просто два тёмных облака. Твоё плечо.
По никому неизвестным правилам наши пути
Расходятся на малорусских окраинах.

А случись потоп – что потом?
Топот по холодным полам.
Это мы пополам расходимся –
так, что комната даёт крен.
Затем исчезает всё вообще.
Есть только ковчег и водоворот.
Отворяй ворота, Господь. Вот –
Четыре крыла бесконечные,
Наши четыре руки бесколечные.

Молчаливое тонкое дерево склоняется надо мной
это почти печаль и нельзя поднять голову потому
что тело становится очень гибким как будто тут и
вовсе не человек а круг; ты так боишься что листья
шепчутся о тебе и хочешь им крикнуть летите но
снова становится пусто и звук превращается в ноль.

Видишь, как белый кузнец сковывает воду,
чтобы множить отражения? И та вода чиста.
Здесь нет числа кривым зеркалам, а потому –
нам, как любому явлению в природе, кузнец
улыбается и выводит – конец солнцу.

Н. умерла. И это вечно. Теперь легче
носить её одежду. После расправить
плечики, чтоб острее. Н. умерла быстрее,
чем кто-либо из вышеотмеченных. Страх
быть повешенной – это повод иначе
взглянуть на чужие вещи. Особенно
летним вечером. Особенно если ты –
женщина.

Моё песочное – самое точное –
время течёт ночью так, что
постепенно солнечное сплетение
сжимается до чёрной точки.

Просторечие

Этого не было. Невозможно.
Но я вижу: ты – на бездорожье,
в самом начале кочевья, где я
становлюсь отраженьем – и в каждом
моём движении живёт твоё продолжение.
В этом мы всё же с тобой бесконечны так,
что даже наши имена смешались с простой речью.

ДИКОЕ ПОЛЕ

Лето свернулось лентой – фиолетовой. Лето всегда – свободный полёт. Тонкие плети на спинах лучших коней. Жара и рожь. Дажь нам – дождь. И если приходишь днесь – оставайся со мной весь. Первый срыв на стихи. Отметь. Ветер умеет реветь.

Не разбираю слов. Яркая точка из чьих-то снов. – Родная моя, спи. Спина женская. Снова поставлю – прочерк. Дикому полю – дикие ночи. Вся боль моя, все тревоги. Помолись, чтоб дороги – скатертью легли под ноги. Чтоб не было тесно. Вечная твоя невеста, дальние дали. Утоли моя печали.

Племена попадают в плен – и жёны плачут. Значит, травы отравлены. Значит, простор оказался – простынью. Только ночью поле остывает. Но об этом никто не знает. – Спит пустыня. Скифы, сарматы, гунны... Кто ходит полем в полнолуние? Кто-то кого-то ищет. Наши земли носят нищих.

Огромные птичьи стаи летят и не успевают. Падают замертво. Здесь все истории – заново. Поле не любит резких движений. Полем правит бог отражений. Пред ликом его не крестятся. Небо – купелью, Большая Медведица. Шестиконечные звёзды. Горький полынный воздух.

Живи со мной рядом. Но помни одно: моё дикое поле опалено.



Екатерина СОКРУТА

Забыл тебе объяснить: Авраам тогда
Нашел десять праведных – и устоял Содом.
Так они спасли и прочие города:
Под суровым взглядом, неожиданным чудом,
Большим трудом.
В назиданье им был огненный явлен столб,
Иногда они тяготились своей виной,
Но никто из них не слыхивал про потоп,
И никто не знал, чем славен трудяга Ной.
Жизнь текла как нужно: был более белым свет.
Каждый жил свой срок и бремя спокойно нес.
Да, нам был оставлен только один Завет,
Но ведь не был судим и казнен на кресте Христос.
Подрастали дети, покрывались мхом валуны.
И катилось время сквозь явленный Божий Дух.
В двадцать первом у нас не боялись Третьей войны.
Потому что в двадцатом не было первых двух.

...Знаешь, полно причин сеять мрак и хаос.
Но что-то велит держать этот пыл в руках.
Я пишу тебе из отеля вблизи Дахау –
Здесь чудесные люди, здесь песни поют в домах.

...Хорошо, что это письмо ничего не весит.
Я таскаю его с собой, сквозь мороз и звезды.
«Десять, – думаю я всю ночь, – десять».
Может, еще не поздно.

Знаешь, а было бы неплохо добежать с тобой до ручья.
Поспорить, чей долетает дальше осколок битого кирпича,

Пораскачивать ветку дерева, как рычаг
Огромной машины, производящей лишь облака и счастье –
Сколько угодно много, по тонне в час.
И было б здорово, если бы ты это прочел сейчас.

Не спустя один величественный часовой пояс,
Когда я уже забуду, о чем тут пелось,
А ты напишешь нечто вроде: какая прелесть!
И сядешь в свой нелепый черный автомобиль,
И станет уже неважно, чего хотелось,
Потому что список желаний делить на скорость –
Бессмысленнейшее и несчастнейшее из дел.

Знаешь, а было бы неплохо добежать с тобой до другой
Половины земного шара, до голубой
Полосы океана, где небо встает дугой,
Огибая земную твердь, и горит огонь
В маяке, и светильники вспыхивают в домах...
И ложится вечер, и ветер в лицо тугой,
А у тебя невиданной нежности свет в глазах.
И мы такие, знаешь, человеческие фигурки на фоне неба –
На янтарных, пологих, ласковых к нам холмах.

Страшная сила человек, когда человека прет.
Он везде успевает, все понимает, до тысячи лет живет,
Все, что ему положено, – принимает,
что не полагается – сам берет.

Смотрит тебе в глаза и никогда не врет:
Эй, ты, говорит, сумрачный идиот,
Эта жизнь тебе ни капельки не идет.
А сам улыбается, улыбается во весь рот.

Страшная истина человек, когда в человеке цель.
Он выбрасывает часы, у него навсегда апрель.
И без понятия, сколько продлится вся эта канитель,

Он просто меряет швейным метром земную твердь –
Мол, от сель до сель
Будет моя власть, заступит моя артель,
Запоет на рассвете ручная моя свирель.

Вселенная человек, пока в нем горит огонь.
Он поведет сквозь лес жалобщиков и тихонь,
Научит: свое отдай, чужого, дурак, не тронь,
Зачем тебе эти вещи, слышишь, какая вонь,
Не бойся, растяпа, протяни мне свою ладонь,
Видишь – на Млечном пути ходит Млечный конь?

А все смотрят на него и гудят устрашающе: уходи.
От тебя такая лучистая мука и боль в груди,
От тебя зараза, душа болит, и идут дожди,
От тебя совсем не стало радости, Господи-и-и-и...

И тогда человек говорит – о'кей, и уходит в один присест.
За ним уходят крысы, дети, пара-тройка чужих невест,
Разъяренные горожане его ищут, ловят и присуждают крест –
Да и мало ли было подобных месс и подобных мест,
А наутро скажут: глядите, и этот еще воскрес.
Знать, у нас воскресенье –
День Открытых Небес...

Ох, уж мне эта осень, бормочет Гамлет,
Ох, это небо с темными берегами,
Черный костюм, нескончаемый монолог.
Очень устал, невозможно пошевелиться,
Вечер здесь чертят крикливые злые птицы,
Башмак топчет тучи, ветер крошит страницы,
Горизонт лежит собакой у самых ног.

Только куда не беги, прибежишь к началу,
Всяк к своему единственному причалу,

Сил моих нет по всей вселенной топтать круги.
Что было толку – а не было вовсе толку,
Толку искать справедливость, платок, иголку,
Душу отдать – словно книгу вернуть на полку,
Не можешь молчать – так, пожалуйста, хоть не лги.

Я сроду не знал этих странных тоскливых истин,
О смысле жизни и поисках смысла жизни,
Я вечный герой трагедии – вот он, крест.
Мир вывихнул не сустав, он свернул бы шею,
Я, видимо, из-за этого здесь чернею,
С ним отмираю, здравствую и болею,
Я – антисептик для всех поврежденных мест.

Но если бы кто-то услышал, еще услышал,
Что замысел умер, что ничего не вышло,
Лишь я брожу по берегу, вдоль воды.
Офелия, где ты, Офелия, невозможно,
Отмщение – ложно, да, и прощение ложно,
Все шпаги поломаны, ржавчина съела ножны,
А я повсюду вижу твои следы.

Ах, мне бы сейчас полшанса, полдня, полмига –
Я бы не горы мнений словами двигал,
Я бы взял тебя на руки, на руки – и унес.
И было бы что-то другое, без продолжений,
Бесконечных интерпретаций, переложений,
Премьерных спектаклей, ненужных пустых движений.

Смотреть на тебя и не дышать от слез.

На изломе лета август пахнет остро и пряно.
На изломе лета август пахнет пряно и остро.
Запахи трав долетают до Тихого океана,
Там травы сплетаются и образуют остров.

Волны полыни и мяты в степном просторе,
Лес и подлесок – карлики, исполины.
Выходя из подъезда утром, я вижу море
И нарекаю женским именем Каталина.
В высоких травах – охотники за луною,
Спокойные, с золотыми глазами, зеленой кожей,
Из лунных лучей строят город, из колкой хвои,
Духи Огня корчат лесу смешные рожи.
Ночные птицы рассекают тягучий воздух,
Воруют лунные блики, несут куда-то.
Август стоит, головой упираясь в звезды –
Неистовый, щедрый, волшебный, чудной, лохматый.
Он весь состоит из солнца и поцелуев,
Он дарит чудо каждому, кто попросит:
Он встречает нас смехом: он любит, поет, ревнует...
Он просто последний. Он скоро увидит осень.

Мои предки были носаты и горделивы,
Не секли крепостных, потому что война – хуйня.
Они были того, забытого здесь разлива,
Который теперь так прочно залит в меня.

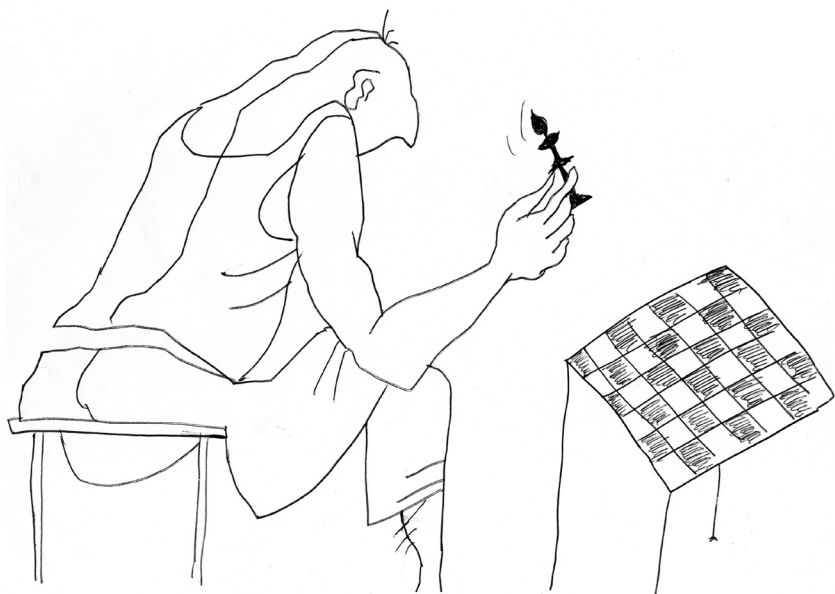
Не научили ни драться, ни ждать у края,
Но плакать не смей – даже если вокруг свои.
Будет трудно, деточка, – помни, кто ты такая.
Всегда вспоминай, что ты из большой семьи,

Где уважали силу, корили слабость,
Не собирали денег, не жгли холсты,
Все, что в тебя впиталось, – в тебе осталось,
Все это мы, а дальше – все это только ты.

Нет никакой нагрузки, нет никакой морали,
Просто прямую спину легче держать, когда
Помнишь, что они были, как они умирали,
Как начинались судьбы, как пролегли года.

Вдоль по далеким трассам, вверх по горам высоким,
Вниз по долам и пашням, вкривь иногда и вкось.
Там, где шумели реки, нынче стоит осока,
Но все, что им удавалось – все-таки удалось.

Надежд я не оправдаю, и мало ли что решу я,
Мне в целом хватает фразы «да черт ее разберет!».
Но все-таки эти люди в крови у меня бушуют,
Они научили думать, что родина – это Род.



Елена МОРОЗОВА

Я не слышу тебя и не слушаю, но ты не молчи,
пробирайся сквозь самый немислимый мой заслон.
Если замки с принцессами есть, то есть и мечи
для крапивы моих обжигающих душ слов.

Мы с тобою стоим на макушке цветущей земли.
Это место не ад и не рай, а горнило любви.
И летят самолёты во мне и плывут корабли,
и сама я лечу и плыву, и взлетаю, и ...

Сеет звёзды медведица, взгляд её кажется дик.
Чёрным вспенится ночь. Невидимкой мерцает ковш.
Я тебя узнаю по тревожному стуку в груди.
Как таинственно небо и как же оно глубоко.

Сердце взвесит молчанье и отзвук немой тишины.
Я в бреду расставанья – так надо, так быть должно.
Только где-то в пространстве счастливейшим оттиском мы.
Я не слышу тебя и не слушаю, но ...

Брату

Камнепады дней. Брат, сули приют.
Я ещё жива, я ещё стою
посреди миров, у реки без дна,
где всплывает вверх животом луна.
Из глубин огни голубее льда.
Брат, смотри: сестра, а вокруг – беда.
Посреди дорог: каждая – обман,
вот и здесь – тупик, вот и там – обвал.
А всего-то жизнь. Жизни камнепад.
Посули приют, посули мне, брат.

Утро в горах

Терракотовый холм лошадиною мордою
тычет в луга цветущий, колючий татарник.
В клочьях белых тумана рождается облако
и уходит за гору, как с посохом странник.

Низко-низко нырнёт трясогузка над шумною,
над бурлящей, над горной речушкою узкой.
Запестрит склон зелёный овечьими шубами
и заблеет на местном, кавказском, хурзукском.

Золотую солому швыряет охапками
в топку солнца прохладное утро ущелья.
Вознесутся вершины торжественно храмами.
Зазвенит колокольчиком песня прощенья.

Улочка в Покхаре

Бледно-желтое манго, а привкус знакомый – хвои.
Это мне, чужестранке, вкушать его плод – дивиться.
Но острейшего карри не съесть без усилий воли.
И смотреть, как корзину с бамбуком несет девица.

Эта улочка в Покхаре, с озером и холмами,
где случаются ливни, от града слетают листья.
На машинке непалец выстрачивает OM MANE...
Его бизнес равняется вере простой буддиста.

Под баньяном раскидистым купишь заморских фруктов.
Fresh салат по-тибетски мой с бабочкой из моркови.
И в полуденный зной эта улочка сходит с рук мне,
инородке, возвращенной судьбою на русском слове.

На юг

Югом бредят предметы в доме,
все приметы уехать, кроме
королевской четы бегоний,
отцветающей на балконе.
Потянулись на юг по-птичьи
проходящие электрички.
Мелкий-мелкий на город сыплет
дождик летний, разводит сырость.
А у моря, конечно, жарко,
и себя там уже не жалко...
Дай Бог, завтра мы будем живы,
купим персиков и инжира...

Кара-Даг

Налетят чайки с криком или
ветер с моря нагонит ила...
Небо – девять десятых кадра
над вершинами Кара-Дага.
Рыжий бок его старше речи,
пожелавшей увековечить,
чтобы было достойно, гордо,
чтобы «эр» полоскало горло.
Сушит солнце и ветер сдует,
десять раз переименуют...
Вечность – слишком большая дата
даже, даже для Кара-Дага.

Крымское

Там веками настояны смолы
в можжевёловой чаше ствола,
под полуденный огненный молот
ржавый бок подставляет скала.
Там уполз в море мысом ящер,
в склон сыпучий оазис врос,
виноградный и настоящий,
из кривых тёмно-бурых лоз.
Там горчит запах хвои терпкий,
море в розовой пелене.
Затрепещет, минуя ветки,
Солнце бабочкой на стене.

У моря

Я иду, дорог не разбирая.
Плеск волны за поворотом в ночь,
где в чешуйках лунная кривая
через море убегает прочь.

Стынет берег. Галькой ледяною
холодит. Здесь днём ходил Ты бос.
Приручённой тычется волною
море, будто мокрым носом пёс.

Галечная мелочь голубая –
это ли дорога к небесам,
где пасёшь Ты звёзды, помогая
нам, Твоим назойливым истцам.

А самой себе помочь мне нечем...
Ветер тучу на ночь приволок...
Под водою тоненькие свечи
угасают. Спать уходит Бог.

Облако

Ни пристанища ему, ни логова,
облаку, а лишь простор и путь,
да к холму замшелому, пологому
на мгновение головой прильнуть.
Пересмешником земного – облако:
что еси на небе, есть под ним.
Осьмикрылое, чудно не обликом,
а усердием. Но им одним
не понять летучему мир временный.
Да и нечем страннику небес.
До полудня жить ему отмерено
и упасть косым дождём на лес

Зимнее

В голубые озёра неба
наметёт и насыплет снега.
Зарубцуются звёзды – колко
будет глазу от белого шёлка.
В полушубке из снега утро,
солнце с примесью перламутра.
Время, знай себе, катит дальше,
не считая минуты в сдаче,
безразлично ко всякой сумме
вечность нам норовит подсунуть:
ты – Душа, остальное тленно...
Как живётся тебе, Елена?

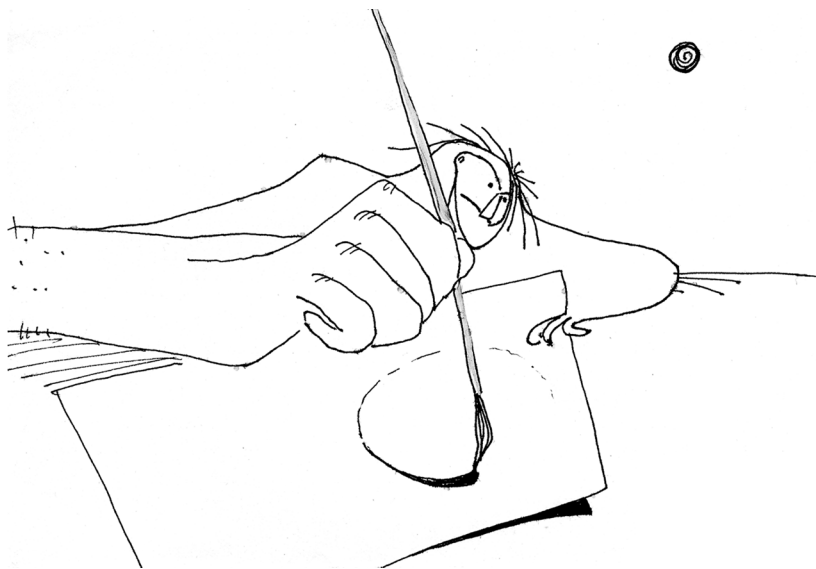
* * *

Л.С. Беринскому

Горечь мяты. Гортани ожог. Молчу.
Это – воздух: чир-лючи, чир-люки.
Это – яблоня в пене среди майских чуд
колыбельку с птенцами баюкает.

Это – ветер разносит: черли-вью, терли...
и сирени пахучую пьяность.
Это – вечность сквозная маячит в дали,
притворившись, что вечер, полпятого.

23.05.09



Олег ЖОРОВ (ТЭНГУ)

Хайку

листопад
даю чаевые
медью

осенний парк
лечу грусть дворяниги
докторской колбасой

осенний вечер
достаю послушать как молчит
дедов патефон

одинокчество
разговор с утюгом
о высоком

словно выдергиваю чеку –
настежь открываю окно
в осенний сад

мосты сожжены
в зеркале заднего вида
полыхает закат

перрон в тумане
чувствую губами
где ты

какая луна!
давай
подойдем поближе

влюбленная пара
две остановки
прекрасной чуши

ладонь к ладони...
сквозь пальцы свет
домашней вселенной

отражаясь
в твоих глазах
молчу междометиями

на твой голос
отзывается
солнечное сплетение

светает
светится у окна
влюбленный по уши

сон о тебе
уши полные слез
полные счастья

доброе утро
достаю слова
из поцелуев

к французскому поцелую
тянутся из камина
языки фиолетового

подкосилось крыло
под воздушный поцелуй
попала ворона

снег весь день
между тобою и мной
первые следы

снег на четверг...
заворачиваешь в блины
запах дома

одно дыхание
на двоих
зимняя ночь

след полевки
среди бескрайних снегов
дорога домой

шлеп-шлеп
сходит с крыш
снег

весенний ливень
на язык колокола
примостилась птичка

звуки джаза
подбирают на лету
капли дождя

дождь в дорогу
над твоей головой
маленькая радуга

солнечное утро
тянешь ножку
навстречу чулку



солнце сквозь туман...
тебе
молюсь за тебя

красное и черное
ягоды смородины
из ладоней друг друга

негативы с юга
гигантская маслина
луны

пестрые распашонки...
беззаботное детство
бабьего лета

декольте, бриллианты...
и вдруг -
полевые цветы

радостно плывёт
к башмаку в луже
бумажный кораблик

песочница во дворе
наделал шороха
первый жёлтый лист

осеннее утро
в тон её помады аллея
клёнов

осеннее утро
становится на крыло
ангел клёна

бах – шампанское...
на ветке за окном
пригнулся ворон

не всякий кот-дворняга
дойдёт до середины
футбольного поля

перья веером
Rolex в клюве ворона
с городской свалки

просёлочная дорога
голосует на обочине
гриб-дождевик

дворовой футбол
стенка
из первоклашки и тузика

выше коленка –
тихо, тихо – ползи
стрелка на колготках

три метра
а в лунную ночь все четыре
аура комара

плюс-минус
девять граммов пчёл...
продавец винограда

играем в прятки
жмурится
кот

весь в побелке
первым спешит в уголок
паучок-хозяин

маленький краб
испугать тебя может
и улыбка ребёнка

сорвал цветок
а он всё клонит ко мне
свою головку

утренний трамвай
на босоножке девушки
улитка

аромат кофе
на кухню входит
заспанная кошка

умиление дворника
утренний обход
снежных баб

дети индиго
сама с собой на перемене
разговаривает учительница

глядят с недоверием
на шляпки пассажиров
грибники

деревенская свадьба
в ямку из-под каблучка
закатилась вишенка

церковный дворик
после венчания
воробьи да голуби

полярная звезда
не спит на окне
плюшевый мишка

ручная работа
ангел носит на небо
души

лопнул арбуз
созвездия
двух полушарий

ступеньки планетария
просит спичку
какой-то инопланетянин



Зал переводчика



Фанни ван ДАННЕН

Литературовед, листая новую публикацию, привычно и профессионально сравнивает манеру и приемы автора с уже известными... В рассказах ван Даннена безусловно можно уловить эхо и Ионеско, и Хармса (особенно в связи с умышленной смазанностью, сниженностью концовок), и Роальда Даля, и даже, наверное, Экзюпери... Впрочем, я не литературовед и, вероятно, многого в ходе чтения не заметил. Важно, однако, что сборник коротких, емких и очень неожиданных историй Ф. ван Даннена дает внятное представление о немецкой современности – как материальной, так и отраженной в сознании людей, в свою очередь составляющих эту современность. Книга – пёстрая смесь юмора, радикального пессимизма, прусских ценностей и понятной встревоженности за будущее и настоящее.

АБ

ВОТ ТАК БЫВАЕТ...

Вчера звонит канцлер – нельзя ли погостить у нас в саду с палаткой.

– Дорис¹ тоже будет? – спрашиваю я.

– В этом-то и проблема, – отвечает он. – С «юзовских»² времен у меня осталась одноместка, но для двоих она тесновата.

– Но ведь Дорис... – говорю я. – Она же суперминиатюрная...

– Тем не менее, – отвечает бундесканцлер. – В кои-то веки отпуск – так уж по-людски...

¹ Дорис – супруга бундесканцлера Шрёдера.

² Juso – студенческие организации СПД (Социал-демократической партии Германии).

– Понимаю, – отвечаю я. – У нас в подвале лежит наша старая семейная палатка, модель «Кимзее», можете воспользоваться... если не заплесневела... Я имею в виду, что если заплесневела, то тоже можете взять, но тогда надо денек запланировать, чтобы её вымыть и просушить. Замечательная палатка! Вместительная, серо-лиловая. Мы всегда брали её с собой, когда ездили в ГДР, на Остзее. Местные жители с ума сходили от зависти и так нас разглядывали, как будто мы из-за границы. По счастью, тогда... ну, столько лет христианства, потом социализм... – они еще были напуганы и вели себя неуверенно, а то бы... я хотел сказать: палатка действительно отличная! И садик у нас хороший – только маленький. Можно, конечно, поговорить с соседями... они турки. У них сад значительно больше, и если я скажу, что приедет бундесканцлер, – возможно, они сами приберут. Вот только стеклянные осколки...

– Стеклянные осколки?.. – переспросил канцлер.

– Да. Турки так и говорят своим детям: идите в сад и бейте о камни бутылки. А пока немцы будут убирать осколки, мы сможем спокойно заняться нашим наркобизнесом.

– О!.. – воскликнул бундесканцлер. – А я и не знал!

– Пустяки! – возразил я. – Вам в вашем положении это ни к чему. Но если вы собираетесь разбить лагерь у нас в саду, я должен поставить вас в известность о характере социального фона. А то потом окажется, что у вас все подстилки и надувные матрасы изодраны стеклами и вы же сами себя спросите: как так получилось?

– Ну, хорошо, – сказал бундесканцлер. – Я обсужу это дело с женой и позвоню вам завтра.

Через пять минут телефон зазвонил снова.

– Это Шрёдер, – раздалось в трубке. – Вы знаете, мы не приедем. Моя жена не любительница туризма.

– Всё ясно, – ответил я. – А вы заранее такие вещи не обсуждаете? А то неприлично выходит: замах на рубль, удар на копейку... А представьте, если бы я уже сходил к туркам?.. Как бы это выглядело? Они и так считают нас, немцев, туповатыми, а из-за таких историй и с остатками уважения придется проститься.

– Прекратите сейчас же! – воскликнул канцлер. – Наши сограждане, лица турецкой национальности, относятся к нам с огромным уважением – в этом я не раз убеждался в ходе личных встреч с гражданами.

– Ну да! – возразил я. – Вы встречались, наверное, с образованными столичными турками, а у нас тут перед церковью Св. Михаила восседают толстозадые анатолийские крестьяне, а их дети гримасничают у образа Иисуса. Вот если бы я, к примеру, приехал в Анкару и стал малевать на асфальте перед мечетью Долли Бастер или Верону Фельдбуш¹?

– По мне... так хоть кого... – проговорил канцлер и повесил трубку.

«Наконец-то!» – подумал я и уже собрался было в турбюро, но жена сказала: «Стой! Не ходи. Этот Шрёдер не отдаст себе отчета в билатеральных последствиях. Он просто не мог больше слушать, как ты сеешь рознь. Это и вправду невыносимо. Приготовь лучше что-нибудь на ужин».

«Откуда ты знаешь, что такое билатеральный? У тебя же никогда не было латыни!»

Она, недолго думая, швырнула в меня куском рыбы – я на силу поймал его на лету. Это оказалось филе королевского окуня.

Я обвалял рыбу в сухариках, слегка поджарил в соусе из белого вина и подал на стол с вареным картофелем, зеленым салатом и водой – из-под крана.

Все дети собрались за столом. Когда я позже спросил жену, удался ли ужин, она просто сказала: «Не очень... Но всё-таки разнообразие». Детей я спрашивать не стал. Рыбу они вообще не любят, поэтому от ужина кое-что осталось, и я выкинул остатки на балкон кошке. Я это часто делаю. Кошку я, правда, не выношу, но когда она нажрется, то, по крайней мере, оставляет в покое птиц. Так что нет причин держать ее впроголодь. К тому же с ее появлением у нас исчезли крысы.

¹ Долли Бастер, Верона Фельдбуш – известные секс-символы.

НОВОСТИ ОТ БОГА

Недавно Бог сотворил семью, но, конечно, не так, как это делают нормальные люди. Он выдернул откуда-то мать-одиночку с годовалым ребенком и совершенно незнакомого ей мужчину и впихнул их в сарай.

– Что это должно значить? – спросила молодая мать. Её звали Кончита, хотя она была чистокровная немка, – просто родители зачали ее во время пребывания в Мексике.

– Самая настоящая семья... – ответил Бог. – Твоему ребенку нужен отец – вот он, полюбуйся!

Кончита смерила взглядом безработного оформителя витрин Роланда П.

– У тебя, вероятно, не все дома. На что мне этот старый мешок?

– Э!.. э!.. – возмутился Роланд. – Мой мешочек еще в полном порядке.

Он начал было расстегивать штаны, но Бог остановил его:

– Оставь, Роланд! Мы и так тебе верим...

– Я – нет! – воскликнула Кончита.

У Бога от озабоченности лицо собралось складками.

– Дитя моё! Ну почему такое недоверие? Неужели свободный рынок так исказил твои чувства, что ты не подаришь доверием честного человека?

– Даром ты от меня ничего не дождешься! А ну-ка выпусти нас отсюда!

– Нет, – ответил Господь. – Сперва послушай. У меня на твоего ребенка большие виды – он должен изменить мир. Всё это дерьмо он должен тщательно перемешать и помочь возродиться извечным ценностям...

– Извечным ценностям?.. – переспросил Роланд. – Что это ты имеешь в виду?

– В первую очередь приветливость, – ответил Бог. – Дружелюбие, и вежливость, и честность; надежность и верность – словом, извечные ценности.

– Что, и старательность, и воспитанность, и порядок? – спросил Роланд.

– А почему ты спрашиваешь?

– Я всегда был старательным, – ответил Роланд. – Я всегда был порядочным... я был даже за смертную казнь. А теперь я в сорок пять безработный... Это справедливо?

Бог замотал головой:

– Только не надо мешать яблоки с грушами...

– Оставь меня в покое с фруктами! – заорал Роланд. – Говори четко, что ты затеял, а то я разнесу тут всё в клочья...

У Бога от озабоченности вся голова пошла складками.

– Откуда такая агрессия?! Это что же, социальная рыночная экономика сделала тебя таким агрессивным, что ты отваживаешься предъявлять требования твоему Господу? Ведь ты в ХДС?!¹

Роланд подавленно кивнул.

– Прости мне, Боже! Это всё АБМ-программы². Они меня прямо измотали – не могу больше!

– Вот и я говорю! – подключилась возбужденная Кончита. – Он старый, раздавленный жизнью червяк! Немедленно выпусти нас отсюда! Что это вообще за хлев?! Что – мест в отеле не было?

– В отеле?... – Бог рассмеялся. – Нет, начинать – так с малого! Всё доброе приходит снизу. Распоследний неимущий должен считать себя ровней твоему ребенку!

– История не повторяется! – сообщил Роланд. – Успех Иисуса повторить не удастся, не те времена!

– Успех? – переспросил Бог. – Что ты считаешь успехом? Этих старых педиков, которые воюют против контрацепции? Или сказки об аде и рае? Оставь Иисуса в покое!.. Дает себя распять и делается рок-символом... нет, такого уговора у нас не было. Он должен был научиться какому-нибудь ремеслу и нести людям истину, и так до старости. А вместо этого он гастролирует, как Копперфилд³, и не гнушается потаскухами. Для меня он умер!

¹ Христианско-демократический союз – одна из ведущих партий Германии.

² АБМ-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme – государственные программы по (принудительному) трудоустройству безработных

³ Дэвид Копперфилд – популярный фокусник.

– Для нас тоже! – согласился Роланд.
– Ну и ладно, – сказал Бог. – Всё равно уже давнишняя история...

Кончита принялась дёргать дверь сарая.

– Отставить! – прорычал Бог. – Дверь на запоре. А снаружи я поставил двух ливанцев-охранников, вот та-а-ких вот! – Бог развёл руки в стороны.

– Раньше у тебя были ангелы, – зловердно заметила Кончита.

– А-а, называй как знаешь! – воскликнул Бог. – Ну... так как?

Кончита затрясла головой:

– Да ведь это девочка, старичок! У меня девочка, понимаешь?

– Я в курсе, – ответил Бог. – Кто имеет что-нибудь против девочек?

Кончита ненадолго задумалась.

– Только не в этом хлеву! – наконец заявила она. – Только не с этим типом. Я хочу Нико Шванца¹ из Апольды и виллу на малом Ваннзее. Я не выношу бедности!

– Я подумаю, – ответил Бог и отпер дверь сарая.

Ливанцы исчезли. Бог вызвал такси для Кончиты с ребенком, а Роланду предложил выпивку. Они отправились в «Юную Любовь» и пили до самого утра.

– Как ты вообще на меня вышел? – спросил Бога Роланд.

– По генам... – ответил Бог. – Вы действительно идеальная пара.

В пивной кроме них уже никого не было. Когда Роланд добрался домой, жена его сидела одна на кухне.

– Что так долго? – спросила она.

– Пьянствовал с Богом...

– Всю ночь?

– Всю ночь.

– Ну и как?

– Он даже не дал мне заплатить...

¹ Шванц (Schwanz) – в т.ч. пенис (нем. разг.).

БАЛЕТ

Мы все вместе посмотрели мини-балет «Танец мусорных мешков» и теперь сидели в пивной у моста и всё еще были под впечатлением...

– А какое ощущение легкости создавали эти пустые мешки!.. – воскликнула Мануэла.

– Да, – подхватил Гёнцо. – А полные были какие тяжелые? Подумать только, ведь это сыграли люди, и даже вовсе не толстые...

– На роли полных мешков я бы всё же брал толстых танцовщиков, – добавил Том. – Настоящих толстяков... Вот тогда бы вещь действительно была по нерву...

– Тогда это не было бы искусством, – задумчиво заметил Коля¹. – Толстяки в роли полных мешков... – в чем бы тогда заключалось искусство?

– Минуточку! – воскликнул Том. – Разница между толстяками и полными мешками всё же есть – по крайней мере, в движениях!..

– Естественно... – вставил Коля. – Естественно, толстяки и полные мусорные мешки – это не одно и то же. И, конечно, гораздо больше эффекта, если стройные, тренированные тела могут создать впечатление, что на сцене – стокилограммовые мешки с мусором.

– Точно, – подтвердила Мануэла. – Это приятно. А толстых танцовщиков, возможно, вообще не бывает... Откуда они их возьмут?

– Я знаю пару толстяков, которые охотно движутся, – заметил Гонцо. – Моя мать, к примеру. Когда она учила меня фокстроту и вальсу, я всё удивлялся, как она легко танцует. Она почти парила... Наверняка можно было бы найти толстых танцоров-любителей!

– Что? – вскричал Коля. – Вы что, действительно думаете, что можно набрать с улицы каких-то людей и просто сказать

¹ Имитация кратких славянских имён (Катя, Соня, Саша, Таня и пр.) в моде в Германии.

им: «Всё! Давай изображай полный мешок с мусором!»? Не-ет, так это не делается...

Мы заказали ещё по пиву, и Мануэла принялась критиковать либретто. Ей не понравилось, что пустые мешки побили полных. Почему всё должно кончаться оргией насилия?

– В этом политический смысл постановки, – ответил Гонцо. – Что же, все мешки должны были под конец перецеловаться?

– Ничего не имею против... – ответила Мануэла.

Чувствовалось, что она обижена.

– Я люблю хэппи-энд, – добавила она.

Том и Коля рассмеялись.

– Как ты можешь в такой степени идентифицировать себя с мусорными мешками?! – спросил Том.

– Это только говорит в пользу постановки, – заметил Гонцо. – Действие по-настоящему захватывает...

– Меня – нет! – возразил Том. – Я прекрасно вижу разницу между людьми и мешками с мусором, а пьеса просто кричит каждой своей фиброй: «Это мусорные мешки – и больше ничего!» Вы всё время хотите видеть людей... Глупость какая! Я, например, чувствую настоящее умиротворение, когда речь в искусстве идет не о людях...

– Ты это брось! – возразил Коля. – Сам не веришь в то, что говоришь. В искусстве в конечном итоге речь всегда о человеке, о нас. Кому какое дело до мешков с мусором? Ты что, действительно думаешь, что все эти субсидии в область культуры имели бы место, если бы нас интересовали мешки с мусором?

– Про людей я и так слышу ежедневно... – попытался отстоять свою позицию Том.

– Я тоже... – сказал Гонцо.

– А для меня искусство – настоящая жизнь! – воскликнула Мануэла.

Кельнер принес ещё пива.

– А я бы поставил на сцене тягач... – сказал Том. – Просто чтобы дать понять, что существуют совсем иные миры.

– Тягач? – удивился Коля. – Тогда уж лучше собор; это был бы настоящий контраст.

– Контрасты! – заорал Том. – Плевал я на контрасты! Почему нельзя просто указать выход?!

– Выход?! – переспросил Коля.

– Вот именно, – сказал Гонцо. – Какой еще к чёрту выход?

Том разглядывал свое пиво.

– Ну, я просто думал когда-то: вот хорошо бы, чтобы тут по ландшафту прошелся тягач...

– Дурость!.. – сказал Коля. – Полная дурость.

– Лучше ландшафт с дураками, чем ландшафт с мертвяками, – заявила Мануэла, и все на нее посмотрели. – ...Ну, мне больше понравилось бы, если бы в конце все мешки с мусором попрыгали бы на тягач и исчезли бы вместе с ним в вечерней заре...

– Тогда уж лучше мусоровоз... – возразил Гонцо. – Больше бы соответствовало настроению.

– Почему тогда не танк? – спросил Коля.

– У вас точно не все дома... – воскликнул Гонцо. – Это же против всякой логики! Для чего, по-вашему, тренируются танцоры? Они должны быть легче повседневности! А вы хотите впереть на сцену тягач! А ты – собор! – повернулся он к Коле.

Коля помолчал.

– Вы тут устроили полную неразбериху с вашей непрофессиональной болтовней, – заметил он наконец. – Вы понятия не имеете о балете и только болтаете зря вокруг да около...

– Каждый имеет право болтать про мини-балет, – возразил Том. – Иначе это не был бы мини-балет. Ты просто забыл о чём речь...

– Точно, – проговорил Коля. – Забыл...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Эх, вы!.. Вот я бы для вас – наизнанку вывернулся... А вы что делаете?! – не унимался кочующий проповедник Пауль Хендерсон. – ...Вы брюхатите мою жену!

Безработные рок-музыканты Ральф и Джинго мрачно глядели в пол.

– Мы не нарочно... – пробурчал Ральф.

– Было полнолуние... – добавил Джинго.

– Ах вот что?! – зарычал Пауль. – Так Хелен залетела от полной луны? Может, она ее проглотила?.. ты, завравшийся засранец!!!

Все замолчали.

– Пауль... – снова начал Джинго. – ... Тебя просто слишком долго не было. Больше двух лет. Подумай сам! Каждому может стать одиноко...

– И потом эти длинные зимние вечера... ты ведь сам знаешь, какие они длинные... – добавил Ральф. – А потом однажды Хелен сказала, что боится воды. И попросила нас, чтобы мы с ней купались и мылись...

– Купались и мылись? – переспросил Пауль. – Что, с этого дня она уже не мылась сама?

Оба музыканта молча кивнули.

– А что нам было делать? Дождаться, пока она зарастет грязью?

– Вам надо было позвонить доку Фиверу¹, – проговорил Пауль. – Он спец по душевным проблемам...

– Откуда мы знали? – возразил Джинго. – Чего же Хелен нам об этом не сказала?..

– А куда она вообще подалась? – спросил Пауль.

– Ей было нужно в город... Какое-то дело...

– Какое еще дело?

– Это длинная история, – сказал Джинго.

– Расскажи-ка... – с интересом сощурился Пауль.

– Ну, в общем... – начал Джинго. – ...Примерно через два месяца после твоего отъезда здесь объявился некто Мэттью Джонсон. Хелен знала его еще по гимнастической студии...

– Мэттью Джонсон? – задумался Пауль. – Не знаю такого.

– Ну, короче, у него было полно неприятностей, он по глупости лишился всего имущества и хотел на время затеряться, поскольку две женщины доставали его алиментами. Хелен разрешила ему здесь пожить, но только в качестве собаки...

– Собаки? – Пауль Хендерсон покрутил головой. – Собаки? Как это?.. Он что, бегал на четвереньках и ел из собачей миски?

– Да, так оно и было, – Джинго рассмеялся. – Мы даже выводили его на травку – только без ошейника...

¹ Фивер, в оригинале Fever – лихорадка.

– Он спал на полу возле кровати Хелен, – добавил Ральф. – Он был о-кей! Но через полгода Хелен его прогнала, а то он уж очень привязался...

– Он хотел спать с ней в кровати, – продолжил Джинго. – Это было уже чересчур...

– И теперь Хелен у него, в городе? – спросил Пауль.

Ральф кивнул.

– Он играет в салуне на фортепьяно... с тех пор как умер старый Том.

– А что ей самой там нужно?! – вскричал Пауль.

– Ничего особенного, успокойся. Просто он часто играет ей «You're so vain». Помнишь этот старый хит Карли Симона?

– Помню... – проворчал Пауль.

– Хелен считает, что это нравится малюткам, – промолвил Джинго. – Не надо ревновать...

– Я не ревную... – сказал Пауль и пересел в большое кресло у камина. – Но сперва я должен всё это упорядочить...

Он уставился на тлеющие угли и вскоре заснул.

Ральф и Джинго направились в садик за домом и взялись поливать надгробие их продюсера. Как всегда, когда они занимались поливом, из ниоткуда появился призрак усопшего и потребовал, чтобы вместо воды лейку наполняли виски.

– Дорого... – ответил Джинго. – Слишком дорого, старичок. Мы не можем лить виски просто в землю...

Тогда призрак обратился в невидимый кулак и навешал им хуков, как Леннокс Льюис Виталию Кличко.

Обливаясь кровью, они вернулись к дому, и только принялись оказывать друг другу первую помощь, как появилась Хелен.

Джинго издали заметил ее испуг и поспешил крикнуть:

– Это не Пауль! Всё в порядке!

– А где он?

Оба указали на каминную.

– Он спит. Мы ему всё рассказали. Он держался молодцом.

Хелен обработала их раны и уселась за стол в кухне. Ральф и Джинго принялись доставать из ее хозяйственной сумки бабочки с йогуртом.

– Э!.. э!.. Йогурт для Пауля! – воскликнула Хелен. – И с завтрашнего дня чтобы я вас здесь больше не видела. Достаточно тут покормились...

Ральф и Джинго мигом выскочили из дома и повалились в пыль перед верандой.

– Это еще что такое? – закричала Хелен.

– Мы хотим стать пылью!¹ – воскликнули оба так дружно, как будто заранее репетировали.

– Проваливайтесь! – снова закричала Хелен. – Представление окончено!

Пауль проснулся и вышел к Хелен на веранду. Теперь они вместе созерцали лежащих в пыли мужчин.

– Я им велела уйти, – сказала наконец Хелен. – А они лежат и хотят обратиться в прах...

Пауль спустился с веранды.

– Давайте-ка, поднимайтесь! – сказал он. – Успеете еще превратиться в прах.

Они ушли только через час.

– Что там с этим Мэттью? – спросил Пауль.

– Он подарил мне семена люпинов, – ответила Хелен. – Я их посею. Знаешь, я хочу выращивать на продажу люпины, ну, чтобы укрепить наше хозяйство.

– Хорошая мысль! – воскликнул Пауль. – Ты уже придумала имя ребёнку?

– Тайга и Тундра... – ответила Хелен.

– Близнецы? – спросил Пауль.

– Ну конечно! – воскликнула Хелен. – Эти два придурка не рассказали тебе самого важного...

– Тайга и Тундра... – медленно проговорил Пауль. – Звучит красиво...

*Перевод с немецкого, комментарий и примечания
Александра Барсукова.*

¹ Игра слов: «сделаться пылью» по-немецки значит исчезнуть, испариться.

Луиза ФАБРИ

ЛОМТИК ОБЛАКА И НЕБЕСНОЙ ЛАЗУРИ ЛОСКУТ

В 1992-м году в московском издательстве «Художественная литература» вышла солидная книга «Лирика семи городов», в которой были представлены 75 немецких поэтов, живших и писавших, в разные времена, в Трансильвании – *Siebenbürgen*, как до сих пор называют этот край в Германии, да и в самой Румынии оставшиеся ещё там германо-язычные жители. Говоря о немецких поэтах, я имею в виду не только поэтов-немцев: на немецком писали там и такие видные и выдающиеся лирики еврейского происхождения, как Альфред Киттнер, Альфред Мареул Шпербер и самый, пожалуй, известный в мире немецкий поэт середины 20-го века – Пауль Целан.

Отдельной фигурой стоит в этом ряду юная Зельма Меербаум-Айзингер (*Selma Meerbaum-Eisinger*, 15.8.1924 – 16.12. 1942), одарёнейшая поэтесса, депортированная в 1942 году в Транснистрию и умершая там – как несколько позже и её родители – от сыпного тифа. Сохранился рукописный и собственноручно переплетённый ею сборник «*Blütenlese*», в который вошли 57 стихотворений на её родном языке, на немецком (тексты датированы 1939-1941 гг.), в том числе несколько её же переводов из поэзии идиш, а также с французского и румынского.

Трагична судьба самой литературы Семиградья, считавшейся в послевоенной Румынии миноритетной, а в Германии – провинциальной. Между тем эта литература и в германофобские 50-е, и позже, при диктатуре Чаушеску не давала себя искоренить и вывела на общеевропейскую арену видных прозаиков и поэтов – достаточно назвать самую, может быть, читаемую в сегодняшней Германии романистку Герту Мюллер и обогативших современную немецкую поэзию Рихарда Вагнера, Рольфа Боссерта и Франца Ходьяка. К этому же литературному поколению принадлежит и Луиза Фабри (*Aloisia-Luise Fabri*), с которой я познакомился в 82-м году в Бухаресте, в редакции журнала «*Deutsche Literatur*» (впервые опубликовавшего мои стихи в переводе с идиш). В её стихах мне показалось необычным непреднамеренное совмещение эстетики немецкой женской лирики 60-80-х (Ева Штриттматтер, Сара Кириш) с чувственным индивидуализмом румынских поэтесс (Иоана Крэчунеску, Дениса Комэнеску, Елена Штефой).

Л.Б.

Детская игра

Бумажный кораблик в луже
и тысяча миль одиночества.
Мировой океан в больших и округлых глазах:
ни сладостных славных побед,
ни проигранных битв,
и всё, что уходит на дно
намокшим газетным комком, –
всё это будет потом.

Дома

Снова встреча –
и всякий раз
словно в детских ботиночках.
Это всё из-за старого, я полагаю, ореха,
что, бывало, в каждую осень
начало школьных занятий
приправлял
пряным духом ореховой, сверху летящей листвы.

Снова встреча –
и всякий раз
словно в детских ботиночках.
Это всё из-за глаз молодых ещё светлых,
что, бывало, каждую осень
в день начала школьных занятий
проводжали меня долгим взглядом, покуда я шла
вдоль по улице нашей,
листвою шурша.

Отчего?

Где рождается ветер?
Чем кончаются наши предчувствия?
Из какой сердцевины прорастает ответ на вопрос?

Из чего возникает зрение?
Почему срываются звезды?
Что такое конец времён?
И какой именно сон
всякий раз нам служит сигналом,
что пора просыпаться?

Отчего наши руки всё время ищут кого-то?
И кому это нужно,
чтобы сотни и тысячи ракушек морских, извлечённых
со дна,
оказались пустыми –
а одна
затаила жемчужину?

Засуха

Тишина. Лай собак.
Земля что-то важное из виду упустила
или попросту потеряла.
Нищенская, просительная тишина на свету –
только пыль и резкие
красные крыши,
безмолвные вскрики,
в небо брошенные,
в высоту.

Крохи

В спешке
сгребаю все эти крошки –
частички целого,
что целиком
никогда мне не получить.

Из открытого окна вагона
скорого поезда
я достану себе ломтик облака
и небесной лазури лоскут,
и, вороватым движеньем, из-под черепицы
мимо летящей крыши –
ласточкино гнездо.

Ночью я – настоящий грабитель – отнимаю у озера
чёрное и серебряное мерцанье
волн в тишине.
И уже присматриваюсь к холодным огромным
чудовищам на небосводе, в предутренней вышине.

Последний вопрос

Сколько радуг под солнцем весенним я проморгала,
проплакала в детстве, покуда
научилась от сладостных слёз соль
и горечь беды отличать.

Сколько подсолнухов порассматривала я снизу,
покуда не выросла?

Сколько раз «дважды два» я учила и вновь забывала –
пока не вкусила
первый мой поцелуй?

И сколько ещё впереди поворотов, радостей, слёз –
прежде чем я
ответить сумею
на самый последний вопрос?

Уничтожение и возрождение

Я об этом слышала от отца
и от матери.
Я не знаю, как это было тогда –
великое Уничтожение.
Я только могу представить себе:
уничтожение глаз,
уничтожение прозревающих рук
и сознания уничтожение.

Мне довелось увидеть великое Возрождение:
светлых окон,
глаз
и прозревших рук,
и сознания возрождение.

Тишина

На равнине стою, очарованная тишиной.
Как вкопанная –
на краю бесконечности, на самом пороге
между равниной и небесной безмолвной страной.

А Луна
так и хочет упасть, и деревья
мне навстречу идут, уступая дорогу теням,
я как вкопанная стою, и стволистые тени
мимо, мимо проходят по двум сторонам.

Я ощущаю,
как земля в глубине струится,
и прислушиваюсь к тому, как светит Луна,
и наблюдаю, как сон облаков очертанья меняет
и лица,
и рассыпается – и поёт вокруг тишина.

Я видела тебя

Я видела тебя – и потеряла
полей безмолвие и грусть,
дремотность трав
и сон изнывших злаков.

Прости меня за то, что я –
лишь точка в этой тихой и огромной
белизне.

В моей ладони – вот! – остались семена
цветов
на каждое, что будет, время года.

Голубиная стая

Голубиная стая,
перламутровой мглой отливая,
вспорхнула
над столом у меня, испугавшись
тихого стука
в дверь.

Когда ты вошёл,
они снова стали усаживаться
по одному – оставаясь
наготове, взъерошив крылья
перед тобой.

Ева

Ева яблоко с дерева сорвала
и Адаму его отдала – нет, себе его не забрала.
Нет, грехом это не было, просто предание врёт.

Сколько же яблок Ева с дерева сорвала?
Сколько пустых сосудов наполнила жизнью?
Жаждающих напоила,
гладствующих накормила,
бедствующие земли водой окропила,
юные злаки спасла
от вихря дурного,
раны лечила
и утешала – без единого слова в ответ:
нет,
благодарностей она не ждала.



Перевод с немецкого Льва Беринского

Лев БЕРИНСКИЙ

Акко, Израиль

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА

Говоря о «слагаемых таланта» переводчика, нужно уточнить следующее: талант как таковой – это не сумма слагаемых, он сам – слагаемое в художественной деятельности, в самом бытии творческого человека. Кроме общих для поэта и поэта-переводчика обязательных данных (артистизм, акустическое и графическое чувство слова и т.п.), переводчик должен обладать еще одним даром, который бывает порой даже противопоставлен оригинальному поэту, – даром имитации.

Если в оригинальном творчестве имитационное начало зачастую ведет к подражательству, стилизации (за исключением особых жанров, например, пародии), то для поэта-переводчика умение заговорить чужим голосом, повторить чужой жест – условие совершенно необходимое. В самом деле, не может же переводчик всякий раз быть естественно равным тем большим, а то и гениальным поэтам, произведениям которых он дает второе рождение! Конечно же, дар имитатора (разумеется, в сочетании с фундаментальной культурой) позволил, например, Михаилу Лозинскому достойно показать нам и Данте, и Шекспира, и Мольера, и Фирдоуси...

Наличие или отсутствие этой способности легко распознать опытным читателем. Даже впервые встретив имя переводчика, по переводам почти всегда можно с определенностью сказать: действительно ли это профессионал или любитель, дара имитации лишенный.

Вопрос о традиции и новаторстве в переводе может, следовательно, рассматриваться как вопрос интерпретации, и если говорить о переводе классики, то речь идет о намеренной «архаизации» автора или его «осовременивании». При этом надо понимать, что «традиция» или «новаторство» проявляются не только на внешнем, лексическом уровне. Одного введения

экзотически-старых или, наоборот, суперсовременных словооборотов тут мало. Необходимое условие – такой взгляд на переводимое произведение, такой ракурс, при котором в оригинале выявляются духовные, интеллектуальные и эстетические тенденции, наиболее близкие сегодняшнему читателю. Поясню это на примере довольно сложном – сложном потому, что здесь мы сталкиваемся с редким случаем сочетания этих двух противоположных на первый взгляд методов: архаизации и модернизации.

В переводе поэмы Михаила Эминеску «Лучафэр» (центрального произведения в творчестве поэта) Александр Бродский имитирует эстетику европейского романтизма и наряду с этим модернизирует художественный образ, тем самым усиливая, в расчете на современного читателя, острый драматизм и «космологический» дух поэмы (безусловно потенциально присутствующий в оригинале). В переводе нет философской или эстетической вольности, но есть «сегодняшний мир», явно и откровенно введенный в русский вариант произведения, а правильней сказать – выведенный из недр поэмы, из-под пластов романтизма девятнадцатого столетия.

Эффекта «модернизации» классического произведения добивается и А. Илюшин, опубликовавший свой силлабический перевод одиннадцати песен «Ада» («Дантовские чтения». М., «Наука», 1982). Не во всем эти переводы, мне кажется, удачны. Но в одном ему нельзя отказать – в стремлении заново, непредвзято прочитав Данте, прочитав «собственными глазами». Рискованность его опыта (после перевода М. Лозинского предложить русскому – современному – читателю силлабический стих!) усугубляется тем, что вольное или невольное стилистическое «снижение», несомненно, покоробит привычно-возвышенные чувства, которые испытывает (или полагает, что испытывает) читатель при одном упоминании этого имени: Данте. Терцина, скажем, звучащая у Лозинского колокольно, с благородным гулом: «Я зрел Электру в сонме поколений, / Меж коих были Гектор, и Эней, / и хищноокий Цезарь, друг сражений» – выглядит у Илюшина так:

Видел Электру с большим коллективом,
Средь прочих тени Гектора, Энея.
Цезарь-воитель, взором сходен с грифом.

В пояснениях переводчик замечает, что читателя, «конечно, неприятно заденет или просто рассмешит выражение «с большим коллективом» – совершенно непоэтическое и ассоциирующееся не с древностью, а с современной действительностью». И все-таки он идет на риск, не ради эпатажа, а во имя близости к оригиналу – как он эту близость понимает.

Признаюсь, как читатель я предпочту прекрасное и с юности близкое «Земную жизнь пройдя до половины...», но понимаю, что, как говорится, «в порядке эксперимента» можно прибегнуть и к этому несколько громоздкому (два родительных падежа!) обороту: «На полдороге странствий нашей жизни». Во имя чего? Ну, хотя бы во имя того, чтобы несколько обновить эстетическое ощущение от давным-давно утвердившегося в нашем сознании шедевра. Ведь, «споткнувшись», удивившись, читатель невольно чуть дольше задержится на этом месте, заново начнет приглядываться ко всему, чего, по сути, уже давно, в привычном, автоматическом восхищении, не видел. Мне импонирует отважный исследовательский подход А. Илюшина даже к бесспорному, давно утвердившемуся. Переводчик и должен быть исследователем – в большей, может быть, мере, чем литературовед, поскольку его открытия не академически самоценны, но служат эстетическому обновлению образа. Задерживаясь на этом переводе, хочу все же привести два, по крайней мере, заинтересовавших меня наблюдения А. Илюшина, оживляющих представление о «Божественной комедии» и говорящих о ее созвучности современной поэзии и искусству в целом, таким образом, делающих более современной самую эстетику поэмы. «Вообще мнение о какой-то особой четкости дантовских ритмов, – пишет А. Илюшин, – столь же широко распространено, сколь глубоко предрассудочно... Не стоит говорить о «строгой метрике» применительно к силлабическому стиху, в котором чередование ударных и безударных слогов отнюдь не упорядочено». И в другом месте: «Толкователи дантов-

ского творения считают нужным указывать на то, что каждая из трех кантик «Комедии» состоит из 33 песней – плюс одна вступительная песнь «Ада» (первая). Иными словами, – вернее, не словами, а цифрами, – трехчастная и стопесенная «Комедия» скомпонована так: $(1 + 33) + 33 + 33$. Однако такое членение сугубо формально, содержание здесь как бы не принимается в расчет. Если же обратиться именно к содержанию, то станет очевидной необходимость внести в привычную схему некоторые поправки. Так, вступительной по своему характеру является не только первая, но и вторая песнь «Ада» [И еще: хотя обе песни входят в первую кантику и готовят читателя к моменту, когда Данте отправится в путешествие по Аду, все же их правильнее было бы расценивать как вступление не только к «Аду», но и к «Комедии» в целом, поскольку в них намечен маршрут и смысл предстоящего странствия по всем трём областям загробного мира. (...) Кстати, и с Чистилищем, и с Раем дело обстоит не настолько просто, чтобы ничтоже сумняшеся повторять давно заученное: 33 песни посвящены путешествию по Чистилищу и столько же – пребыванию в Раю... Напомним лишь в этой связи, что если в адские врата Данте вошел в третьей песне «Ада», то в чистилищные – только в конце IX песни «Чистилища». А на первом небе Рая оказался не в первой, а во второй песне заключительной кантики... Пресловутый геометризм, отличающий построение «Комедии», в общем-то не абсолютен. Содержание, в каком бы строгом соответствии ни стремилось оно быть с формой, живет все-таки по своим законам – и подчас сопротивляется заданной тенденции к безупречному соблюдению выверенных пропорций, идеалу чистой формы].

Чувство современности, таким образом, единственная, пожалуй, точка соприкосновения творчества переводческого и творчества оригинального, если только под современностью не понимать атрибутику момента, а под поэтическим творчеством – версификацию. И лишь в этих пределах, на этом пространстве «актуализации» переводчик, уже как личность творческая, решает, в какой мере и в чём он должен быть «свободным» интерпретатором или дотошным «буквоедом». Если надо, он может дать почти подстрочный, дословный перевод,

если надо – перефразировать, делать купюры, заново компоновать вещь. Целью и оправданием должно быть только одно: максимальное «проявление» личности переводимого поэта и переводимого произведения.

Эти «права и обязанности» знает, в общем, каждый серьезный переводчик и так или иначе реализует их в своей работе. Но существует ряд проблем, решить которые он практически не в силах, поскольку они лежат в области «запредельной», несобственно переводческой. Одна из них – процесс адаптации, «приживания» творчества иноязычного поэта в данной культуре, процесс, которому в большей или меньшей мере способствует «актуализация», ведущая к преодолению временных эстетических и этнографических барьеров.

Ни один переводчик не в состоянии предвидеть, какая судьба ждет переводимого им, даже большого, поэта. Займет ли он, место, скажем, для русского читателя, рядом с Беранже и Муром, чьи стихи давно читаются и поются у нас наравне с лермонтовскими и некрасовскими, или же останется «иностранцем». И все-таки переводчик обязан об этом думать, иначе труд его потеряет масштабность и нацеленность.

Бывает так, что в литературе, в которую вступает иноязычный поэт, нет художественно-эстетических аналогов. К примеру, футуризм определённым образом задел в свое время румынскую поэзию, и румынский читатель относительно готов к восприятию Хлебникова (если, конечно, переводчику удастся с ним достойным образом «справиться»). Но вот в русской поэзии практически не было (за исключением очень редких и принципиально ничего не решающих случаев) той экспансирующей в наш век эстетики, с которой мы связываем имена раннего Арагона, Элюара, Кокто.

В Румынии это направление на протяжении многих десятилетий имело своих крупных представителей: Тристана Цара, Сашу Панэ, Вирджила Теодореску, а в последние годы – Вирджила Мазилеску. Что делать русскому переводчику, вступающему здесь в область талантливого эпатажа, откровенной игры поэтической мыслью и словом? Какие искать аналоги, как доказать, что это по меньшей мере серьезно?

Действительно, существует определенная инерция читательского восприятия, и с этим, хочешь не хочешь, тоже приходится считаться.

И сколько же их, таких еще не открытых русскому читателю талантов? Спросите у переводчиков-энтузиастов, работающих «истины ради», они пожалуются на свои заваленные рукописями столы, ящики и папки, в которых годами ждут своего светлого (если уж не звездного) часа поэты, чьи имена на родине вызывают уважение, а то и восхищение. У меня, например, лет двенадцать пролежала в столе, среди прочего, пьеса Альфреда Жарри «Король Убю».

Этот вопрос смыкается с другой проблемой: существуют ли непере译имые произведения? Да, существуют. И, как правило, это произведения, которым трудно подобрать аналоги в культуре, в которую они вводятся, что совершенно необходимо для их восприятия. Например, для стихов Эрнста Яндла, солидного австрийского поэта-«конкретиста», лауреата многих почетных премий, характерно порой строгое соблюдение графической композиции. Скажем, слово «лететь» не просто повторяется несколько раз – сам рисунок строфы, образованный этими повторениями, как бы «летающий»:

лететь

лететь

лететь

лететь

лететь

Можно (это проще всего) отбросить подобное «шуткарство», но дело-то в том, что при более близком рассмотрении творчества этого поэта убеждаешься: сколь ни «цирковыми» кажутся художественные средства, ему удается выразить себя, свой духовный мир и даже своё время. Тем не менее понимаешь, что вряд ли стихи Яндла станут петь у нас наряду с «Коробушкой» или «Катюшей», какой бы талантливый и удачливый переводчик ни взялся за него.

Но в общем у переводчика имеется достаточно художественных средств, способов не просто воспроизвести на родном языке информативно-речевую сумму битов, единиц информации, а развернуть текст перед новым читателем как вполне постижимый объект, как, скажем, киноленту, на которой можно не только разглядеть, но и «узнать», принять за своё пейзаж, тот или иной персонаж, психологическую коллизию. Существенно помогает в этом умелое использование национального колорита, при этом желательно находить аналогии, но допустимы и пояснения. И предпочтительнее, думаю, не выносить их в сноски и комментарии, а при возможности прямо вводить в текст. Иногда это просто вставки, имеющие целью оживить непривычную для читателя ситуацию, приблизить чужой ландшафт. Прекрасным примером может служить явная вставка (пояснение к пейзажу) в переводе О. Савича стихотворения Габриэлы Мистраль «Все мы будем королевами». В оригинале сказано (подстрочный перевод): «Мы говорили восторженно и считали это правдой, что все станем королевами и достигнем моря».

Перевод Савича:

Мы говорили друг другу с восторгом,
свято веря, что будет так:
королевами все мы станем
и у моря повесим флаг.

Именно флаг придает рельефность, зрелищность пейзажу, да и ситуационно оправдан, хотя в оригинале его нет: эти девочки, мечтающие о море, таким его, должно быть, и видят – с флагом, реющим над какой-нибудь башней у самой кромки воды. Знаю, что многие со мной не согласятся, имея в виду не только правомочность подобных вставок с точки зрения профессиональной этики, но и тот факт, что «достичь моря» в латиноамериканской поэзии традиционно означает «осуществить свою мечту». Но все-таки, возражу я снова, и этот смысловой аспект в эпизоде с флагом вовсе Савичем не утерян...

Хуже, когда происходит обратное: переводчик что-то опускает в тексте, упрощает его. Я не говорю о тех вопиющих случаях, когда выбрасываются целые главы и строфы. Намеренно возьмем пример более, так сказать, «тонкий», почти неприметный. Е. Солонович переводит современного итальянца Эдоардо Сангвинети, переводит хорошо, любовно, но... полагает, что для русского читателя слишком много у автора двоеточий. (Нередко иная строфа у Э. Сангвинети даже кончается не точкой, а... двоеточием, открыто «зияя».)

И переводчик «адаптирует» пунктуацию оригинала, убирая двоеточия и расставляя вместо них «свои» запятые и тире:

...столько голов шаров, столько голов мертвых:
смейся, смейся – я куплю тебе
братика, чтобы ты называл его по имени, чтобы ты
называл его Микеле.
(«Хнычь, хнычь...»)

Между тем двоеточие здесь, как и в других стихах цикла, из которого взято разбираемое стихотворение («Чистилище ада»), имеет синтаксическую нагрузку, несет функцию интонационно усиленного многоточия, особенно в конце, где говорящий как бы замирает с открытым ртом, что-то вдруг увидев или вспомнив... Конечно, это «мелочь». Конечно, стихи все равно впечатляют, и, может быть, за этим двоеточием только мне одному и примерещилась фигура онемевшего персонажа, но ведь поэт пользуется пунктуацией как средством, ведь его стихи изобилуют всяческими скобками, разновысокими шрифтами, даже арифметическими знаками – ведь что-то же он хочет этим сказать, так стоит ли переводчику (или издателю?), не очень вникнув во все это, делать русский текст упрощенней, «читабельней», привычней для глаза?

Но это к слову. Если же вернуться к вопросу о «принципиально непереводимых произведениях» в том смысле, в каком он был поставлен, то «переводимым» или «непереводимым» любое конкретное произведение может быть не само по себе, а только по отношению к тому или другому языку. Так, напри-

мер, переводы из Есенина на румынский (З. Станку, Дж. Лесня, И. Олтяну) вполне передают дух и звучание его поэзии, а вот по-немецки... Великолепная ландшафтная строфа:

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось –

переведена (замечательным поэтом Паулем Целаном!) так, что первая же строка напоминает какую-то расхожую приговорку, присловье вроде «ни сучка ни задоринки». Винить ли в этом только переводчика?

Концептуальный строй, логическая «дисциплина» немецкого языка во многом определила здесь «неналожимость» есенинского речевого образа на синтаксис перевода. Зато хорошо, на мой взгляд, звучит Маяковский, особенно у австрийца Гуго Гупперта. Не утверждая категорически, я склонен думать, что для любителя поэзии – немца более значительной фигурой представляется Маяковский, а вот в Румынии, скажем, по моему ощущению, искренне любят Есенина. И дело не только, повторяю, в переводческих удачах или неудачах. Если немецкой поэзии всегда было свойственно акцентировать морально-духовный аспект прекрасного, то в румынской – в большей мере ценилось эстетическое начало, красота в её «чистом» виде: красота природы, красота женщины, красота фольклорных образов...

Но даже переводчик, которому известна «шкала ценностей» в данной иноязычной поэзии, не всегда может верно понять и определить значимость и истинное место «чужого» поэта в его тамошней родной литературе. Не раз, помню, приходилось удивляться (разумеется, не вслух), слыша явно завышенные оценки некоторых румынских переводчиков нашего того или другого довольно слабого стихотворца. Потом выяснялось, что их поразила какая-нибудь одна «очень смелая» строка. Не сказывается ли тут некоторая пресыщенность эстетичностью европейской поэзии и тяга к «русской своеобычности»?

Бывало, впрочем, и наоборот. Так, один талантливый, тоже румынский поэт всерьез объяснял мне, что «у русских вообще поэзии нет», поскольку его «не устраивало» в нашей поэзии правдоискательство, постановка социальных и гражданских вопросов. Что это, субъективность отношения и вкуса? Разумеется. Но не только. Есть и объективные факторы. Некое «полярное напряжение» между различными поэзиями и литературами в целом, имеющее, впрочем, разную степень интенсивности. Так, между русской и немецкой литературой это напряжение слабее, и немецкому поэту легче войти в русскую, а русскому – в немецкую живую литературу. В этом смысле «легче» и судьба переводчика, при условии, конечно, что речь идет о крупном поэтическом таланте автора и о достойном его интерпретаторе в родной словесности.

С теми же сложностями сталкивались в свое время и переводчики, занимавшиеся национальными литературами народов СССР, с той только разницей, что в практической работе им проще было «убирать» камни преткновения на пути в журнал или издательство. Многие авторы из советских республик, понимая специфику дела, шли на помощь переводчику, соображая, насколько возможно, свои требования с требованиями перевода, ища приемлемые варианты. Но общение с автором целесообразно только тогда, когда он хорошо знает язык, на который его переводят. В противном случае любое незнакомое слово, непривычный речевой оборот, фразеологизм вызывают у него возражения.

У меня были случаи, когда маститые авторы уже в корректуру (без ведома переводчика, благо издательство шло на это!) «правили» переводы сами, нещадно корежа текст и язык. Но ведь все мы знаем, насколько чаще происходило обратное! Издательства заказывали переводы национальных поэтов (особенно молодых, не успевших ещё обзавестись «своими» переводчиками) случайным людям, неумелым версификаторам или даже хорошим русским поэтам-непереводчикам, чье имя само по себе не гарантировало однако качественных результатов их труда. Это совсем не значит, что оригинальному поэту противопоказано переводческое дело – вспомним крупней-

ших русских поэтов, от Пушкина до Заболоцкого! Но поэт (как и профессиональный переводчик с повышенным импульсом индивидуальности) должен очень осторожно выбирать себе, скорее, отбирать для себя авторов. Иначе он либо просто не справится с оригиналом, либо «подомнет» его под себя.

Мне как читателю больше дали «чистые» переводчики, не всегда, бывало, с гремющими именами: Мендельсон, Чежегова, Микушевич... Хорошие переводы интересно и полезно читать, если даже знаешь эти стихи в оригинале: тут – новое прочтение, другой глаз и ухо.

Особый случай – автоперевод, к которому вынужден бывает прибегнуть автор. Попытки эти не часто заканчиваются успешно, но вот пример: в сборнике молдавского поэта Паула Михни «Прелюдия» один из лучших переводов принадлежал ему, автору. Тут интересен «лабораторный» момент редкостного, уникального процесса, когда «в чистом виде» выступают такие переводческие категории, как «адекватность», «неизбежные потери» и даже «отсебятина» и «клюква»! Но, как правило, удачно переводят себя поэты, уже сложившиеся и как профессиональные переводчики. Тот же Паул Михня превосходно перевёл на румынский (в СССР – молдавский) стихи Вергилия, Овидия, Валери, Некрасова, Рильке.

А что это вообще за такое занятие – переводистика? Призвание? Прибежище? Прежде всего, полагаю, – естественное для человека желание поделиться с ближним радостью открытия. До сих пор, проведя сорок семь лет за переводческим столом, я ещё, кажется, не утратил известное нашему брату чувство беспокойства, ощущение дискомфорта оттого, что вот существуют же на свете такие прекрасные стихи Григоре Хаджиу или Мотла Грубиана, или Сары Кириш или Рони Сомка, а люди вокруг меня не читают, не знают их. И хватаешься за всё это, хотя умом понимаешь, что в пору бы уже сосредоточиться на чем-то одном, лучше – классическом, оно как-то солидней и вроде поближе к Гнедичу.

А может быть, переводы – это хорошая возможность реализовать свои версификационные «излишки», которых иной раз у пишущего больше, чем живого образного материала для собственных стихов.

❖ Барджуд ❖



Владимир АВЦЕН
Вунипертадь

ПОТОМУ ДОРОГА И ТРУДНА...

Интервью с поэтом Дмитрием Сухаревым

Организованный восемь лет назад Стасом Аршиновым международный бардфестиваль раскололся в 2008 году на три части и проводился в трёх разных странах: Хорватии, Болгарии и Украине.

Я побывал на фестивале «Поющий берег» (организатор Татьяна Синицина), проходившем в середине августа в небольшом болгарском селе Крапец.

Поначалу здесь всё складывалось как-то не очень ладно: одних участников фестиваля самолёт приземлил почему-то в Румынии; другие прилетели в Болгарию, но получили багаж лишь два дня спустя; у девочки из Москвы в поезде украли деньги; автор этих строк опоздал на свой рейс...

Но зато потом! Потом была неделя, насыщенная фестивальными радостями и страстями.

Радости для тех, кто летел вечерним рейсом, начались уже в полёте. Представьте себе яркую картинку детского калейдоскопа протяженностью в целый город или, если вам так больше нравится, огромную необычайно сочных цветов фантастическую мозаику, проступившую вдруг сквозь многокилометровую тьму. Ночная София из окна самолёта красива необычайно! Потом будут: знакомство, для многих первое, с болгарскими городами – Софией (теперь уже дневной), Варной, Добричем; экскурсия в овеванную легендами крепость Калиакра (город Бальчик); посещение поражающего

воображение скального монастыря XIV века; лунное затмение, подоспевшее аккурат к началу фестиваля; и, конечно же, специально для гостей разогретое неунывающим южным солнцем Черное море, особо порадовавшее группу, прилетевшую из прохладной, дождливой Германии...

Фестивальная неделя совпала с завершением Олимпиады и окончанием грузино-российского конфликта. Личные политические пристрастия и различная география русскоговорящих участников фестиваля (Россия, Германия, Франция, Израиль, Чехия и т.д.) не могли не сказаться на оценке этих двух противоречащих друг другу событий, но до явной конфронтации дело всё же не доходило. А вот в общении с местным населением, известным своим традиционно хорошим отношением к русским, нет-нет да и случались досадные моменты. Русский язык в Болгарии довольно прилично знают люди старшего и среднего поколения, поэтому гости фестиваля не пытались прикидываться болгарами при необходимости что-то выяснить у встречаемых аборигенов. В большинстве случаев на свои вопросы мы получали доброжелательные и вразумительные ответы, но случилось и резкое «я не говорю по-русски!», а то и вовсе шараханье от нас, как от прокажённых. Думаю, виной тому – последние политические события. Справедливости ради, надо сказать, что и регулярно проводимые учения военных, судя по виду, американских вертолётчиков над морем в Крапее со стрельбой по условному противнику особой симпатией, как я успел заметить, у местных жителей тоже не пользуются. Возможно, болгары, немало пострадавшие за всю свою историю от всевозможных завоевателей, хранят в генах страх перед любыми чужими войсками на своей земле...

Даже «растроившись», фестиваль не утратил международной. Свои страны представляли известные барды Милен и Снежана Тотевы (Болгария); Борис Кинер и Михаил Цитриняк (Россия); Борис Бурда (Украина); Ольга Качанова и Вадим Козлов (Казахстан); Марина Меламед (Израиль); Татьяна Синицына и Борис Серёгин (Германия)...

Особенно радостно было увидеть и услышать активно участвующего в фестивале замечательного московского поэта, автора слов широко известных песен Дмитрия Антоновича Сухарева.

У поэта недавно после девятнадцатилетнего перерыва вышел сборник стихов «Много всего» (М.: Время, 2008).

Не воспользоваться случаем и не взять у него интервью было бы, мягко скажем, неправильно.

— *Дмитрий Антонович, поздравляю вас с выходом книги фактически избранных ваших стихов. Весь день и часть ночи с удовольствием и волнением её читал. Некоторые стихи не могли не подсказать мне вопросы для нашей беседы. Прежде всего вспомнилась одна давняя история.*

В середине 70-х в Донецке на областном радио я сделал передачу о московской гастролирующей по стране театральной труппе, спектакль которой начинался песней Виктора Берковского на ваши стихи: «Для того дорога и дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, потому дорога и трудна...». Песня мне очень понравилась, и я вставил её в свой материал. Когда передача вышла в эфир, «Дороги» там не оказалось. Песню, несмотря на то, что она звучала в спектакле, а значит, была залитована, в последний момент убрал в ущерб передаче главный редактор. Для таких случаев у него имелась в запасе сакраментальная фраза: «Нужно учитывать специфику нашего слушателя»...

Вообще в те времена то и дело случались совершенно нелепые запреты. Мне в утешение рассказали, что на наше радио не допустили детскую песенку Александра Суханова на слова Овсея Дриза «Зелёная карета». Кроме спящих безобидных мышат, ежат, медвежат и ребят, там на запятках кареты фигурировал чёрный грач, в котором редактору привиделся намёк на что-то или на кого-то... Услышав это, я понял, почему не прошла «Дорога». Там же сплошная «крамола»!

*Иногда в дороге нам темно,
Иногда она непроходима,
Но идти по ней необходимо.
Ничего другого не дано.*

Специфика советского человека, по мнению тогдашних надзирающих, не предполагала никаких таких тёмных, а тем более непроходимых дорог...

Были у вас подобные проблемы с другими вашими стихами или песнями?

– Конечно... В издательстве «Советский писатель», помню, сидела некая личность, Соловьёв его фамилия была, к которой отправляешься на беседу после того, как над твоим сборником стихотворений поработал (ну чисто литературная редакция) редактор. У этой личности на всех подозрительных местах рукописи были закладки. Во многих случаях я говорил: «Ну давайте тогда снимем всё стихотворение». А иногда приходилось править, чтобы сохранить стих. Все через это проходили – у Слуцкого есть известное на эту тему стихотворение. Я, к сожалению, не всегда придавал значение тому, чтобы сохранять свой авторский текст, и сейчас я печатаю некоторые старые стихи в отредактированном не мною виде. Вероятно, потому не придавал значения, что стихи у меня всегда были как бы на втором месте после основной работы – там мне приходилось много вкладывать сил и много думать. А стихи... Я к ним относился менее ответственно, хотя, может, этого и не было, может быть, это субъективно так казалось.

– «Во всём удача вышла, Проснусь – и счастливая: Сосед поёт чуть слышно, А песня-то моя», – написано в 58-м году. Это предчувствие, предвидение или ваши песни, действительно, уже тогда пели?

– Нет, сосед ещё не пел, но в университете уже пели, и точно не помню, но вполне возможно, что университетские песни уже начали петь Визбор с Якушевой. С 54-го года, может, даже раньше, песни были популярны в узком кругу.

– В книге немало строк об искусстве, о творчестве и его природе, есть стихотворения, которые посвящены конкретным литераторам, из чего можно сделать вывод о ваших эстетических предпочтениях. А кого бы вы назвали своим учителем?

– Есть такое понятие, как «любимый поэт». И это скорее всего не потому, что он про что-то значимое писал, а потому что писал в музыкальном отношении так, что человеку это близко. Кто, например, для моих хороших друзей первый поэт XX века? Коржавин говорит – Ахматова, Владимир Корнилов гово-

рит – Блок. Другие мои друзья назовут совершенно разных поэтов – и вовсе не потому, что они были их учителями или какие-то идеи высказывали, а просто это близость, может быть, даже чисто фонетическая. Для меня в разное время это были разные поэты... Долго был Пастернак на первом месте, потом больше была близка Цветаева, и на протяжении длительного периода жизни главным поэтом был Слуцкий. Я имею в виду XX век, Пушкина не задеваем...

– Сейчас много говорят о кризисе современной литературы и особенно поэзии. Есть тревога об этом и в ваших стихах. Что, действительно всё так плохо?

– Вы понимаете, исторический опыт показывает, что в обществе потребления поэзия умирает. Скажем, в ведущих европейских культурах (французской, немецкой, английской) в XIX веке была великая поэзия, в XX – уже сильно ослабленная, а сейчас поэзия сошла практически на нет. У нас несколько иная ситуация, у нас всё-таки пока ещё не общество потребления, хотя есть, конечно, признаки того, что мы в эту сторону движемся, но при этом есть и высокая степень сопротивления, которая связана с какими-то традициями – чисто национальными, культурными, религиозными. Например, с русской народной точки зрения, богатым быть плохо, некрасиво, это всегда осуждали. Я думаю, что культурная ситуация будет сильно зависеть от этого. И поэтому поэзия у нас может продержаться гораздо дольше, чем в западных странах, а может быть, и совсем не умрёт – трудно это прогнозировать.

Реальная ситуация сейчас, на мой взгляд, такая, что гораздо больше людей, чем раньше, пишут стихи, но стало трудней, чем раньше, их читать. Всё сваливается в какую-то огромную корзину, где нет ни отбора, ни путеводителя, и человеку, который интересуется поэзией, просто трудно сориентироваться в этом интернетовском и другом обилии стихов. Я забыл точно, но какие-то ужасные цифры называют, сколько людей сами выставляют свои стихи (или это делают некритичные модераторы) на «Поэзии.ру» и каких-то других сайтах.

При советской власти существовала цензура, все её ругали, и я её ругал, но всё-таки, кроме цензуры, существовал культурный отбор. Скажем, напечататься в толстом журнале было очень трудно. Например, любители авторской песни, многие из которых, как правило, не разбираются в поэзии, говорят: «вот Визбора не печатали!» Мы беседовали на эту тему с Ряшенцевым, который учился с Визбором в одном институте и общался в одной среде, а когда потом работал в журнале «Юность», хотел бы там напечатать своего друга. Но это было невозможно, потому что уровень стихов у Визбора низкий – не безумно низкий, но в то же время не такой, какой допускался в толстых, хороших литературных журналах. Вот этих фильтров, которые раньше позволяли находить поэзию, этих фильтров сейчас нет, и приходится ориентироваться на чей-то совет: кто-то где-то узнал, что есть такой поэт. И я сам в результате точно так ориентируюсь. Если узнал новое имя, то благодаря друзьям. Вот буквально сейчас Марина Меламед привезла мне из Иерусалима свежий номер «Иерусалимского журнала», который я очень люблю, я в нём сам печатаюсь. И там есть Юрий Беликов из Перми. Сильный автор. А мне о нём перед этим главный редактор журнала Игорь Бяльский писал, что ему стыдно, что он не знал о существовании такого поэта. И я не знал, а сейчас узнал. А каким образом до Бяльского в Израиль дошло, что вот есть некий поэт в каком-то из русских городов, – я не знаю. Примерно так было и с Борисом Рыжим. Несколько лет назад я почитал Рыжего на семинаре в литинституте и спросил, чьи это стихи. Никто не знал. А сейчас мне говорят люди, которые там преподают, что Рыжий – один из любимых поэтов у студентов литинститута. То есть какие-то механизмы работают, но они слабосильные по сравнению с теми, что были в советское время. Цензуру мы ругали справедливо, но заодно с политической цензурой из ванны выплеснули симпатичного ребёнка – профессиональный отбор, профессиональную экспертизу.

Как раньше проходили стихи? Помню, мне рассказали в «Новом мире», как я попал в число их авторов. Это был самотёк, я послал стихи по почте. Там сидели при отделе поэзии

литконсультанты, как правило, грамотные люди. Мои стихи попали к критику Льву Левицкому, каких-то авторов он из самотёка выбирал и передавал заведующей отделом поэзии Карагановой Софье Григорьевне. Та отбирала в свою очередь и передавала члену редколлегии Маргарите Алигер, которая курировала поэзию. А та – главному редактору, Твардовскому. Конечно, это был очень профессиональный отбор. Сейчас, я думаю, несколько журналов ещё держатся и печатают по такому принципу.

– Но ведь и тогда в толстых встречались плохие стихи. И сейчас тоже есть...

– Да. Раньше могли дать какого-то автора и сказать, что вот в ЦК потребовали, чтобы его напечатали. А сейчас? Вдруг вижу в «Знамени» (прекрасный журнал) ужасные стихи, да ещё, смотрю, дали премию журнала этому автору. Я спрашиваю заведующую отделом поэзии Ольгу Ермолаеву: «Как же так?» Она показывает наверх, как раньше на ЦК показывали, и говорит: «Спонсоры». Спонсоры деньги дают журналу и требуют, чтобы их вкус был отражён. Какие-то элементы уродств сохраняются.

– Полной свободы не было и нет, получается... Вы упомянули литинститут. Вы ведёте там семинар?

– Нет-нет. Это меня пригласили на семинар покойная Таня Бек и Чупринин. Иногда меня кто-нибудь приглашает выступить на своём семинаре или вести семинар на совещании молодых поэтов, которое устраивает Союз писателей Москвы. А регулярно семинаров я нигде не веду.

Я вёл постоянный семинар в 80-х годах. Был такой полуподвальный, со свободным входом – «Сухаревка» его называли. Это был период, когда заколотили досками двери в московский клуб авторской песни, а поскольку я был членом Союза писателей и ни в каких чёрных списках не числился, то ребята придумали, чтобы Союз меня как бы послал руководить пою-

щими и непоющими молодыми поэтами... На общественных началах. Сухаревка просуществовала года три, наверное. Когда началась горбачёвская перестройка и появилась возможность открыть двери бардовских клубов, я этот семинар распустил. Это был приятный и полезный семинар, до сих пор ребята его вспоминают.

– *Были интересные люди?*

– Были, да, очень интересные. Многие стали с тех пор печататься, другие поют.

– *Кстати, о «поют». Бытует мнение, что авторская песня вредит поэзии, являясь чуть ли не её антагонистом. Мне кажется, что как раз наоборот. Сегодня, когда стихотворцев больше, чем читателей поэзии, когда сильно поредела аудитория слушателей стихов, но не редуют ряды любителей авторской песни, она, эта песня, заполняет собою образовавшийся вакуум, удовлетворяет тягу людей к поэтическому слову, а кого-то к ней, хочется верить, и приобщает. Ваше мнение на этот счёт?*

– Да, со стороны части профессиональных поэтов существовало снобистское отношение к авторской песне. Мнение снобов меня никогда не интересовало. Важнее другое: не все из тех хороших поэтов, с которыми я дружен, проявляют интерес к авторской песне. И не потому, что считают там всех авторов слабыми (они знают, что в авторской песне случаются и превосходные стихотворцы), а потому, что убеждены: музыка вредит стихам, так как в них есть своя собственная музыка. Так считает Кушнер, например. И я с большим уважением отношусь к этой точке зрения, она, в общем, справедлива. Конечно, музыка делает стихи менее объёмными, более одно-сторонними, она выпячивает что-то одно и при этом другое теряется, что при нормальном чтении глазами или вслух сохранилось бы.

С другой стороны, вот эта среда бардовская, ну, всемирная саморегулирующаяся система связанных между собой круж-

ков, она, конечно, вносит огромный вклад в сохранение культуры русского языка, литературы на русском языке. Огромный. Сейчас не могу даже назвать другого феномена культуры, который до такой степени связывал бы людей, говорящих на русском языке, любящих родной язык и живущих в совершенно разных странах или даже в разных городах одной страны, хотя бы и России. Только авторская песня! И я считаю, что благодарить её надо за это и поддерживать. А то, что основная масса каэспэшников поэтическую компоненту авторской песни не понимает, недооценивает (чуть-чуть складно – уже поэзия), так этих надо воспитывать, что и приходится делать разными способами. Я всё время этим занимаюсь, всю жизнь (смеётся). В этом году на Грушинском фестивале я придумал отметить юбилей Олега Чухонцева, которому исполнилось 70 лет. Сам Чухонцев не интересуется авторской песней, но он замечательный поэт. И мы устроили концерт – на фестивале было семь или восемь бардов, авторов музыки на его стихи. Я считаю, что вот хотя бы такими действиями можно повышать весомость, что ли, литературной компоненты в авторской песне. Хотя, конечно, традиции работают против этого: при всех декларациях о том, что это поэтическая песня и так далее, поэзия в КСП всегда была в золушках. Известны поющие поэты, у которых есть хорошие, даже замечательные стихи, такие как Галич или Окуджава. Их хоть под музыку, хоть без... Такие были, есть и будут. Хоть та же Ольга Качанова, которую мы с вами видим сейчас в окно. Лена Казанцева, Вероника Долина, Михаил Щербаков... Но для большинства каэспэшников, что Долина, что, не знаю, какая-нибудь там Барабулькина, которая еле-еле складывает строчки...

– *Неужели всё так грустно?*

– Да, конечно. Особенно низкий уровень понимания поэзии у функционеров этих клубов. Они же все себя любят как авторов, и, когда начинают петь, уши вянут, как правило. Хотя и не без исключений. Тот же Игорь Бяльский. Он был руководителем ташкентского клуба самодеятельной песни ... Помню

тот ужасный день, когда я повёл себя довольно безобразно. Я улетал из Ташкента, Бяльский меня провожал в аэропорту и попросил посмотреть его стихи. И во мне такой протест был (ещё один функционер лезет со своими стихами!), что я выдал соответствующую реакцию, за которую мне теперь стыдно, потому что оказалось, что это замечательный поэт. Один из самых любимых мною сегодня.

– Дмитрий Антонович, при наличии вкуса хорошего автора от плохого всё-таки отличить можно. А что вы думаете о так называемой «чистоте жанра» в бардовской песне? Понятно, что какие-то критерии должны быть. Но не вредит ли эта «чистота» развитию самого жанра? Приходит, например, автор со своим, не вмещающимся в привычный канон, лицом, а ему – отворот поворот. Не наш! Как с этим быть?

– А никак не быть... Мусолим эту проблему десятилетиями, а проблемы никакой нет, всё само собой устаканивается. Я присутствовал при том, как на каком-то московском фестивале осуждали Веронику Долину – она тогда только появилась. Причём осуждали не какие-нибудь тёмные люди, а, например, Дулов. Кричал: «Безобразие! Стыдобище!» Мы с Окуджавой его пытались успокоить, что ничего страшного нет, наоборот, талантливая девочка. И каэспэшная масса её поначалу не принимала. Берковского выталкивали, говорили, что это эстрада – не наша музыка... Всё потом укладывается и всё решается очень просто: живут песни в этой среде или не живут, прижились или не прижились. А какие-то теоретические границы... Это всё равно как с языком. Можно запретить какое-нибудь ударение, а оно всё равно пробьется, и всё равно придётся его в словарь вносить. Или вот противоположный пример. Розенбаум. Сначала его приняли на ура, а потом вытолкнули. Он очень злился, сердился... Почему не приняли? Не знаю. Это бывает. Не сочли за своего.

– С Митяевым та же история?

– Ну нет. Митяев свой. Можно придираться к его плачущим интонациям, к чему-то ещё, но он и сам растёт и приручает огромный массив слабо развитых слушателей, приручает их слушать вовсе не плохие песни Лёни Марголина на стихи Бродского, серьёзно подбирается к Пушкину. У Митяева немалый положительный потенциал, он талантлив, добр и симпатичен.

– Стихи ваши очень музыкальны, не удивительно, что многие из них становятся песнями. А бывает ли так, что ещё в процессе написания стихотворение начинает петься, то есть пишется именно как песня? Как вообще это у вас происходит?

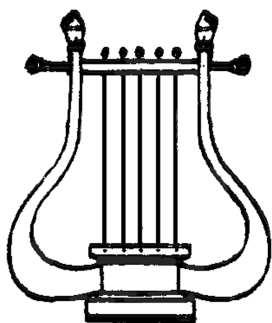
– По-разному происходит. Вы знаете, когда-то давно я написал несколько песен для факультетского спектакля, где мои – и мелодия, и стихи. То, что называется «полный автор». Потом я почувствовал, что у других музыка получается лучше, чем у меня. Было у меня несколько стихотворений, которые пелись мной на свою мелодию, но я этого никому не говорил, а когда на эти стихи появлялась музыка, допустим, Никитина, я видел, что она качественно другого уровня. Поэтому мне совершенно не нужно – лезть со своей посредственной музыкой. И я всегда призываю всех бардов развивать лучшую сторону своего таланта, не стремиться к тому, чтобы делать всё. Ну вот например Борис Бурда. Когда он сам поёт свои песни, они, по-моему, хуже, чем могли бы быть в другом исполнении. То есть ему надо искать исполнителя. И то же самое встречается у других бардов, даже самых замечательных. Тот же Сергей Труханов. Он своим исполнением вредит собственным песням. Я представляю их себе в другом исполнении – это могло бы быть намного сильнее и интереснее. Точно так же со стихами. Ну, скажем, Александр Суханов. Как композитор он превосходен, а стихи пишет не очень. Зачем ему это? Вспомним, Окуджава говорил такое же Жене Клячкину, и справедливо.

– На ваш взгляд, текст песни и текст стихотворения – вещи разные?

– Я думаю, это непредсказуемо. У меня становились песнями стихи, про которые я вовсе не думал, что их можно петь. Другое дело, что интересно не только писать стих, но и работать вместе с композитором. Это совершенно отдельная область, когда мы сидим и обсуждаем стихи и музыку, и песня рождается одновременно. Третье, самое интересное, это написать стихи на готовую музыку, если она к тебе пристала. У меня так было с юных лет. Помню, безумно хотелось наполнить стихами «Кампанеллу» Паганини. Тогда я этого сделать не сумел, а сейчас время от времени пишу что-то на любимую музыку. Вытащу откуда-нибудь музыку, которая мне нравится, и напишу песню, совершенно не имеющую отношения к композитору и его теме. Например, у меня тут в книге есть «Венский каприз», это скрипичная вещь Фрица Крейслера. В стихах речь идёт о Визборе, который никакого отношения к Крейслеру не имел. Но – написалось, что тут поделаешь. Есть ещё несколько вещей, которые написаны на классическую музыку или музыку моих друзей.

– *Стихи у вас случаются спонтанно или вы живёте по принципу «ни дня без строчки»?*

– Нет, никаких «ни дня без строчки»! Это ко мне не имеет отношения. В последние годы я вообще стихов практически не пишу...





Эрнест ОБМИНСКИЙ
Бонн

КАНУН РАЗВАЛА

Примелькавшийся в последние годы облик первого и единственного президента СССР М.С. Горбачева в виде почетного, профессорского вида гуманитария, гражданина мира напрочь заслонил собой две другие «маски» Михаила Сергеевича: энергичного, цепкого генсека, нацеленного на революцию сверху, и растерянного, мечущегося в поисках выхода президента, упустившего свой шанс.

...Прием в Кремле 7 ноября 1986 года. Меж рядов приглашенных, осадивших праздничные столы, активно барражирует моложавый Горбачев, плавно передвигается Раиса Максимовна. В непредсказуемой ситуации переходного периода вовсю работают на приеме те, кто не мог рассчитывать на серьезную карьеру в застойное время. Большинство из них затем благополучно переключаются к Ельцину, но тогда они ловили благосклонность генсека и особенно Раисы Максимовны.

Михаил Сергеевич при обходе гостей задерживается возле «соседей» (так именуют в МИДе сотрудников КГБ) и о чем-то горячо говорит, рубя воздух энергичными жестами. Люди из всемогущего ведомства, стоящие у столов на некотором возвышении, бесстрастно слушают его речи и иногда скупом кивают головами.

Потом он подходит к нам. Кто-то из сопровождающих пояснил ему, что здесь стоят МИДовцы. Его лицо, перед тем напряженное, вдруг разглаживается, и он говорит с сильным южнорусским акцентом:

– Мы от вас много ждем. Нужно, чтобы нас за бугром правильно поняли. Смотрите, как наш народ принимает перестройку – как один человек!

Каким контрастом этому Горбачеву, уверенному в себе и в народе, выглядел другой Горбачев, участвовавший во встрече глав семи крупнейших западных держав по формуле «семь плюс один» в Лондоне. В 1988 году Советский Союз был впервые допущен в эту святая святых Западного мира и то лишь по экономической проблематике.

Встречу, как обычно, заранее готовили представители правительств – так называемые «шерпы» (по ставшему нарицательным имени гималайского племени, служившего проводниками покорителям горных вершин). В качестве экономического советника министра иностранных дел Э.А. Шеварнадзе таким вот «шерпом» был направлен в Лондон и я. Помимо различных справочных и подсобных материалов, мы готовили проекты заявлений, деклараций, меморандумов и т.п. Так что представляемые затем на суд мировой общественности патетические призывы и глобальные выкладки вкупе с «идущими от сердца» заверениями главных действующих лиц создавались «шерпами» – вперемежку с замечаниями о качестве пива, достоинствах проходящей мимо блондинки и другими столь же душевными разговорами.

В принципе, мне, прошедшему подобную же школу в недрах Дипломатической Академии и МИДа, было нетрудно вписаться в «шерпский» круг. Нередко в работе над текстами я тоже «блистал» оборотами типа «будучи преисполнен решимости» или «весомый вклад в экономическую безопасность всех и каждого» и т.п.

Вечером прибыла делегация во главе с Горбачевым, и вскоре все собрались в «свободной от подслушивающих устройств» комнате, где я доложил информацию о предстоящей встрече в верхах. Горбачев выглядел злым и уставшим, слушал сумрачно, почти отрешенно. Оживился, когда я сказал, что Запад все еще подозревает, что реформы – это лишь ловкий, хотя и неясный до конца ход с целью политически разоружить представителей западной демократии и заручиться симпатиями мировой общественности.

– Вот видите, – воскликнул Михаил Сергеевич. – Запад опасается и вовсе не думает, что мы сдаем позиции. Он боится, что мы только выиграем от демократизации. Мы хотим и будем иметь равные отношения, а не военную конфронтацию. И если мы внутри добиваемся настоящей свободы для людей, то почему это – капитуляция перед Западом?

Он словно объяснялся с невидимым оппонентом, не принимающим перестройки. Я начал было развивать его мысль, но он прервал меня к явному удовольствию посла Леонида Замятина.

– Да меня убеждать не нужно, вы лучше дома нашим идиотам это объясните!

Далее я сказал о том, что Запад решил денег на коллективной основе нам не давать, поскольку есть опасность, что помощь укрепит тоталитарный строй. Поэтому какие-то заходы с нашей стороны о предоставлении нам помощи окажутся безрезультатными и лишь подорвут наш авторитет.

Эта линия была осуществлена на практике, и «семерка» была немало удивлена тем, что Горбачев не попросил помощи, в чем ему бы с артистичным лицемерием отказали. Наше лицо было сохранено, но деньги-то все равно были нужны – до зарезу.

Оказалось, что совместить свободу экономической деятельности и наш социалистический строй практически невозможно. Административная экономика еще могла пусть и с горем пополам прокормить государство. Свободной экономике такое государство было не нужно, и она не собиралась его кормить. Лавинообразный характер развала старого хозяйственного механизма, основанного на госзаказе сверху донизу, вызвал естественную реакцию народных масс: «спасайся, кто может!»

Легче всего было спастись тем, кто имел прямое отношение к материальным ценностям. Растаскивалось все, что имело актуальный спрос на рынке: продовольствие, машины, запчасти, промтовары. Что было делать в этих условиях?

И Горбачев заметался.

То начиналось восхваление кооперативного движения, под личиной которого ловкие люди, в большинстве своем еще вчера находившиеся в местах не столь отдаленных, делали

умопомрачительные деньги. То начинались гонения на «ушлых» кооператоров, от чего страдали прежде всего честные работники, тогда как ловкачи вовремя успевали смыться вместе с несправедливыми доходами.

В какой-то момент затравленный взгляд Горбачева упал на академическую науку, и ведущие ученые-экономисты страны по очереди побывали в фаворе у Михаила Сергеевича. Первым оказался известный академик Абел Гезевич Аганбегян. Академик отчетливо понимал, что наука – это наука, а коммерция – это нечто совсем другое. Поэтому он охотно соглашался на роль консультанта при Горбачеве, но упорно не желал служить в аппарате. Академик довольно продолжительное время носил на Западе титул «отца перестройки», что позволяло ему иметь определенные льготы при вояжах в США, Швейцарию и т.д.

Но вскоре Горбачев, не видя немедленной конкретной отдачи от схем академика, охладил к нему. Как-то перед Новым годом (наши дома – рядом) я зашел к Абелу Гезевичу. Обычно абсолютно невозмутимый, он с горечью говорил о том, что вначале Горбачев просто очаровал его, звонил каждый день, даже интересовался здоровьем «мамы Зои» (так шутливо зовут жену Аганбегяна), но потом стал делать непонятные вещи: сегодня горячо поддерживал ту или иную идею академика, а на следующий день делал нечто прямо противоположное. Звонки становились все реже, и вскоре совсем прекратились.

Та же история была и с академиком Станиславом Шаталиным. Стас – так звали его друзья – был человеком крайне холерического темперамента и вместе с тем очень болезненным. Он часто шутил, что по нему можно составить «Таблицу Шаталина», то есть все основные болезни человечества. Будучи знатоком эконометрии, он неожиданно вошел в моду в годы перестройки как человек практической науки, а не догматической политэкономии. Кроме того, Шаталин был блестящим полемистом, и его статьи всегда вызывали бурную реакцию в обществе. Не удивительно, что и Горбачев, и Рыжков заинтересовались академиком.

В один прекрасный день Шаталин спросил меня:

– Как, по-твоему, мог бы я стать премьер-министром?

– Где? – шутливо откликнулся я.

– Я тебя серьезно спрашиваю, – не принял шутки академик. – Я бы всем показал, как надо управлять экономикой!

В это время раздался телефонный звонок. Заботливая жена вошла на кухню, где мы обычно сидели, и сказала:

– Он опять звонит. Что сказать?

– Горбачев, что ли? – с эффектной небрежностью бросил Стас. – Ладно, сейчас подойду.

Вернувшись после разговора, он сказал:

– Все концепцию просит, а что ни предлагаю – не делает. Нет, надо самому за дело браться!

Вскоре и его постигла участь Аганбегяна. Но если Абел Гезевич, в общем, философски отнесся к потере роли фаворита, то Стас негодовал. Его «Открытое письмо Горбачеву» в свое время наделало немало шума, но события развивались столь быстро, что и это подверглось забвению.

Наконец очередь дошла и до третьего столпа экономической науки – академика Абалкина. Будучи человеком скрупулезным, добросовестным, он искренне верил, что «если поднажиться», то наука выведет страну из кризиса. Н.И.Рыжков мало верил в способность тогдашней экономической науки разрядить ситуацию, но что-то надо было делать, и он согласился предоставить Абалкину с подачи Горбачева пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

Как-то вечером мне довелось быть у него в кабинете, где он творил при мягком свете зеленой лампы. Он говорил не свойственным ему ранее «госплановским» языком о том, что такой-то комбинат подводит, а такой-то завод, напротив, выполняет взятые обязательства. Мне стало понятно, почему Рыжков в одном из своих интервью с похвалой отзывался о своем заместителе, подчеркнув, что академик – нормальный человек, и ему чужды всяческая поза и заумь.

В аппарат Горбачева ушел работать и сравнительно молодой, недавно избранный академик Николай Петраков. У нас были неплохие отношения, и я, согласовав вопрос с министром, пригласил его выступить в МИДе. Вот тут-то и выплеснулось в полной мере глухое недовольство реформами большинством мидовцев. Говорили о провальных промежуточных

итогах перестройки, о торжестве вчерашних уголовников, сдаче позиций Западу и т.д. Как ни странно, но Петраков, не особенно старался защитить честь мундира. Он спокойно реагировал на крики, граничившие с оскорблениями, и лишь в заключение сказал:

– Вот попробовали бы вы каких-нибудь три года назад говорить подобное о руководстве и политике страны... Так что, не все так уж плохо. Переболеть надо...

Мне было крайне не по себе от этой встречи, и руководству я доложил, что «состоялся откровенный обмен мнениями».

– Вот и хорошо, – рассеянно сказал министр, мысли которого блуждали в этот момент где-то далеко.

Я не стал искушать судьбу и мгновенно ретировался.

В сравнительно свободном полете оставался еще один видный академик – директор НИИ мировой социалистической системы Олег Богомолов. В обычное советское (и не только советское) время считалось само собой разумеющимся, что руководитель любого ведомства или НИИ из всех сил старается раздуть важность порученного ему участка, рассчитывая на дальнейшую карьеру. Обладая не самым миролюбивым характером, Богомолов в своих статьях и выступлениях начал рубить сук, на котором сидел, вскрывая экономическую несостоятельность системы. Это и привело его к оппозиции Горбачеву. Впрочем, с демократами ельцинского толка он тоже не нашел общего языка. Ему претили примитивизм и шапкозакидательство новоявленных хозяев жизни. Так что, перефразируя Пушкина, можно сказать: «...он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес. У нас он – академик штатский».

Но и это было еще не все. В недрах аппарата Горбачева созрела мысль поставить над «застойным» Внешторгом и вообще над всеми министерствами и ведомствами, так или иначе связанными с внешнеэкономической деятельностью, один всемогущий орган – Государственную Внешнеэкономическую Комиссию или сокращенно ГВК. В нее на правах членов вошли руководители ведомств, а от МИДа и Внешторга – заместители министра. От МИДа в комиссию вошел мой тогдашний начальник Виктор Георгиевич Комплектов – человек, в кото-

ром самым причудливым образом сочетались педантизм и исполнительность, доходившие до крайних пределов, и вместе с тем прямота в суждениях, нередко сводившая на нет столь очевидные плюсы карьерного службиста. Поэтому будучи на воле, вне насаждавшейся им же самой железной мидовской дисциплины, он из вымуштрованного боевого коня тут же превращался в строптивого дикого мустанга, подвергавшего сомнению и даже осмеянию как либерализацию внешнеэкономических связей – эту распахнутую дверь для лихоимства, так и конкретные решения ГВК – как невыполнимые.

Вначале на ГВК был «посажен» бывший министр рыбного хозяйства Владимир Каменцев. Получив высокий мандат, он не стал мудрствовать лукаво и повел дело так же, как недавно в родном рыбном министерстве.

– Почему не подали состав? – гремел его голос на заседаниях. – Кто у нас тут от железнодорожного транспорта? Через час доложите о ликвидации прорыва! Николай Иванович (Рыжков – авт.) мне сказал: «Кто не справится – партбилет на стол». Всем ясно?

Комплектов, слушая подобные, ему самому далеко не чуждые речи, только саркастически улыбался. Затем начинал полемику с традиционным вступлением:

– Может быть я не специалист, но все-таки объясните...

Опытнейший дипломат, много лет полемизировавший в Штатах с самыми прожженными госдеповцами, он легко вскрывал противоречия в спонтанных порывах председателя ГВК и довел-таки отношения с ним буквально до «холодной войны». Наконец он сказал мне:

– Вот что. У меня своих дел хватает, так что сами будете здесь зад просиживать.

И больше не являлся на заседания.

Может быть, и досталось бы Виктору Георгиевичу на орехи за подобные эскапады, но Горбачев, вдохновляемый Е.М.Примаковым и недовольный работой рыжковского выдвиженца, поменял Каменцева на академика Ситаряна, правда, пришедшего в науку с практической работы в Минфине.

Атмосфера в ГВК сразу же круто поменялась. Ситарян сделал своим замом блестящего специалиста Ивана Дмитриевича Иванова, авторитет которого признавали и теоретики, и практики. Но хитроумный Иван не хотел слишком высовываться, чтобы его не захомутали в какие-нибудь советники Горбачева.

– Это будет не жизнь, – говаривал Иван Дмитриевич.

А жизнь он любил во всех ее проявлениях...

Тем не менее, никакая ГВК объективно не могла скрепить обручами быстро деградировавший механизм внешнеэкономических связей. Контроль за сделками был утрачен. Не функционировала налоговая система, и некие физические лица в считанные недели заколачивали огромные, как стали говорить, бабки в диапазоне от колготок до компьютеров. Не удивительно, что и этот «академический ресурс», примененный Горбачевым в ГВК, на практике не дал результатов.

Наконец Горбачев дошел «от великого до смешного». Внезапно на совещание в Кремль были вызваны все руководители внешнеэкономических органов страны, и Михаил Сергеевич представил нам нового «экономического царя» – члена-корреспондента АН СССР, но прежде всего партийного деятеля, члена ЦК Медведева. Теперь все вопросы должен был решать он, а мы – ему помогать. Я был знаком с Медведевым, политэкономом из Ленинграда: как «свадебный генерал» он бывал у нас в Дипломатической Академии.

Трудно было представить себе более неподходящую кандидатуру для столь специфической сферы, как внешняя торговля. Уже тронная речь Медведева вызвала усмешки и хихиканье его будущих соратников – профессионалов с головы до ног. Он путался в терминах, брел как бы на ощупь от тезиса к тезису. В заключение он похлопал ладонью по стопке книг на столе и сказал:

– Вот, я тут подобрал книжки по внешней торговле, где и вы пишите... Буду изучать, входить в курс дела...

Расходились молча. Было ясно, что страна теряет управление.

Этот эксперимент Михаила Сергеевича закончился еще более бесславно, чем предыдущие. Он просто незаметно сошел на нет.

Между тем назревал финансовый крах. Еще недавно западные банки буквально сражались за честь предоставить займы Советскому Союзу, поскольку знали, что свои финансовые обязательства Москва всегда выполняла скрупулезно. Теперь же ситуация круто изменилась: экономика вошла в штопор, полки магазинов опустели.

В эти дни меня пригласил к себе председатель Внешэкономбанка СССР Юрий Московский, с которым у нас установились приятельские отношения.

– Вот, полюбуясь, – сказал он мне, показывая сводку о валютном положении страны, – за два-три последних года мы наделали столько долгов, что не можем своевременно платить по ним проценты. А это – дефолт, банкротство, понимаешь? Вот ты мне скажи, это ударит по нашему престижу на Западе?

– Конечно, ударит, – ответил я. – А ты руководству докладывал?

– Еще бы! Горбачев и слушать не желает о банкротстве, требует изыскать ресурсы, продать все, что можно. А у нас уже и золотой запас растаял...

Чтобы не потерять лицо, можно было отсрочить выплаты западным частным фирмам и заплатить проценты по госзаймам. Но и этого могло хватить лишь на пару месяцев. Наконец Московский попросил соединить его с Горбачевым.

– Конечно, частникам можно пока не платить, – сказал Горбачев, – но дальше-то что?

– А дальше мы – банкроты, – твердо ответил Московский, – если не получим новых займов или длительной отсрочки по платежам.

И началась эпопея погони за кредитами. Это было печальное зрелище: руководитель супердержавы, ведущей гонку за мировое превосходство, в роли просителя финансовой помощи у различных западных инстанций.

Характерной была встреча Горбачева с «другом Хельмута» – канцлером ФРГ Коелем, проходившая незадолго до начала переговоров о выводе наших войск из ГДР. После официальной части Горбачев пригласил Коля в гости в Краснодар, и там, глядя проникновенно в глаза канцлеру, сказал:

– Слушай, Хельмут, дай-ка еще взаймы. Я много не прошу – еще один миллиард.

Кроме Коля и Горбачева, в комнате находились переводчик и я.

– Мы же совсем недавно дали заем, – возразил Коль.

– Да, знаю я, знаю, – торопливо проговорил Михаил Сергеевич, – все вернем, не беспокойся. Нам бы только сейчас перехватиться.

Переводчик не справился со словом «перехватиться», и Михаил Сергеевич пояснил:

– Знаешь, как студенты берут взаймы до стипендии...

Но – увы! – стипендии не предвиделось...

Последовали срочные визиты в западные столицы. Горбачев и тогдашний председатель Госбанка Лев Ворони направились в Мадрид, а мне было велено лететь в Париж и подготовить кредитное соглашение с французами, которое Горбачев и Воронин могли бы одобрить, прибыв в Париж прямо из Мадрида. На все давался один рабочий день.

В Париж я вылетел во главе команды, в которую входили первый заместитель председателя Внешэкономбанка, а в дальнейшем председатель Внешторгбанка Юрий Полетаев и другие опытные внешнеторговые и банковские работники. Уже тогда разница в положении пусть высокопоставленных, но все же чиновников и банкиров дала себя знать. Я остановился в обычном отеле, а Полетаев мне сказал:

– Французы зарезервировали нам места в одном из первоклассных отелей Парижа. Так что мы поедем туда, а утром будем у Вас, чтобы вместе поехать на переговоры в Минфин.

По диспозиции Горбачева-Воронина мы должны были за воскресный день подготовить кредитное соглашение, завизировать его вместе с французами и вечером «перегнать» текст через наше посольство в Мадрид, с тем, чтобы в понедельник его можно было подписать уже в Париже. Рано утром за нами приехали машины из французского Минфина, но Полетаев сотоварищи отсутствовал. Я позвонил в их гостиницу, и там мне ответили, что вся группа не так давно ушла из гостиницы вместе с некими французскими деятелями. Прojдав еще полчаса, я выехал в Минфин – недавно

построенный громадный, мрачный и пустынный лабиринт – в надежде, что встречу свою команду, но ее там не оказалось. Был лишь один сотрудник нашего посольства в Париже. Я поздоровался с заместителем министра финансов Жан-Клодом Трише и всей французской делегацией, и мы решили ждать еще полчаса.

С Трише я познакомился за год до описываемых событий, когда ездил в Париж устанавливать отношения с «Парижским клубом» – международной кредитной организацией. Уже тогда Трише прочили большое будущее, и, действительно, осенью 2003 года он единогласно был избран председателем Европейского Центрального банка.

Прошло полчаса, час, но никто не появился. Нашей группы не было ни в гостинице, ни в посольстве. Понятно, что провалить такие переговоры, означало автоматически освобождение от занимаемой должности, если не хуже. Пришлось идти на громадный риск и самому единолично представлять советскую сторону. Я отчаянно торговался по каждому пункту, стараясь перестраховаться от возможных упреков нашего руководства в излишних уступках. Французы порой возмущались, но все же входили в мое положение.

Около девяти часов вечера сотрудник посольства сообщил мне, что команда нашлась, сидит в посольстве и ждет указаний. Вызывать их в Минфин уже не имело смысла: через час мы закончили работу, завизировали текст, и где-то в 11 часов я приехал в посольство.

На вопрос, где они пропадали, команда внятного ответа не дала: они-де как-то закрутились и вообще полагали, что переговоры можно было бы провести и в понедельник. У меня не было времени излить на них свое негодование в полной мере – нужно было проверить текст соглашения.

– А что, – добродушно сказал Полетаев, – вполне годится. Если бы мы были, мы бы уступили больше, и ничего страшного бы не случилось. Я понял намек: мол, иногда любители от страха добиваются большего, чем профессионалы.

В понедельник мы отправились в загородную правительственную резиденцию, где должно было состояться официальное подписание. К моему ужасу выяснилось, что наше руковод-

ство с текстом в Мадриде не ознакомилось. Учитывая время, необходимое на шифровку депеши в Париже и ее расшифровку в Мадриде, изменить что-либо было уже невозможно.

Где-то к пяти вечера появился кортеж машин с нашим руководством. Я стоял прямо у входа с текстом в руках. Из лимузина вышел Горбачев, затем Воронин, который стремительно бросился ко мне.

– Это текст? – спросил он вместо приветствия. – Давай сюда.

– Вот, – обратился он к Горбачеву, – все подготовлено в соответствии с вашими указаниями.

Горбачев кивнул головой и прошел в резиденцию, сопровождаемый французским премьером. Ему и в голову не пришло, что могло быть иначе. У Воронина было лишь одно замечание по тексту – маловата доля мяса в поставках, и он даже взялся срочно переговорить на эту тему с премьером.

– Мы и так вам много уступили, – сказал премьер. – Ничего менять не будем.

Михаил Сергеевич хорошо чувствовал себя в старых европейских столицах, произносил трогательные речи о братстве и сотрудничестве, с досадой отмахиваясь от мысли, что страна катится в долговую яму. Узнав о том, что Международный Валютный Фонд оказывает на определенных условиях финансовую поддержку слабым валютам своих стран-членов, Михаил Сергеевич благосклонно отнесся к идее нашего вступления в МВФ. В Фонд мы вступили, но деньги нам давать не торопились. Вскоре в Москву из Вашингтона прибыл руководитель Фонда француз Мишель Камдесю, который помимо официальной программы включил в свой визит встречу с Горбачевым для личной беседы.

Михаил Сергеевич был настойчив и находил все новые аргументы для скорейшего получения денег. Но хитрая лиса Мишель с грацией придворного времен Людовика XIV ловко уходил от прямого ответа.

– Видите ли, мистер Горбачев, – говорил Камдесю по-английски с мягким французским акцентом, – наши эксперты должны сначала посмотреть вашу экономику, дать свои соображения, рекомендации...

– Так в чем дело, пусть смотрят, соображают, только поскорее...

– А потом, – как бы не замечая азарта Михаила Сергеевича, продолжал «друг Мишель», – страна должна представить программу по выходу из кризиса, которая бы отвечала уставным требованиям Фонда. А уж потом...

– Эх, господин Камдесю, – вздохнул Михаил Сергеевич, – нам бы ваши заботы...

В общем, флирт с Валютным Фондом денег не принес. К этому времени отношения Горбачева с премьером Рыжковым окончательно разладились. Николай Иванович не разделял его взглядов, противился рассекречиванию экономики.

На должность премьера был назначен министр финансов Валентин Павлов, первым заместителем стал производственник Владимир Щербаков. Разочаровавшись в ученых-теоретиках, Горбачев перебрался на практиков – прагматиков, готовых без особых раздумий следовать его курсу.

С Павловым я познакомился незадолго до его назначения, когда он отдыхал на даче Совмина. Мы поехали к нему с нашим начальником Валютного управления, его бывшим одноклассником и другом. После обильного возлияния Павлов перешел на дружеский, откровенный тон.

– Страна в развале, – говорил Павлов, – дисциплины никакой. А вы, мидовцы, потакаете всяким демократам и ведете страну к гибели.

– Но вы же сами в Минфине только и делаете, что займы ищете, – попытался я возразить.

– Мы делаем, что велят, – сказал Павлов и многозначительно добавил, – пока...

Вскоре Горбачев и новые начальники решили поискать счастья у Европейского Сообщества. Комиссия – исполнительный орган ЕС – всячески декларировала свою приверженность новому курсу Горбачева и готовность «не щадить живота» ради успеха реформ в СССР. В Москве открылось представительство ЕС, были отпущены немалые деньги. Но вскоре выяснилось, что Комиссия нашла деньгам своеобразное применение – они тратились почти целиком на оплату

бесконечных командировок западных экспертов в СССР, аккуратно составлявших бесчисленные тома рекомендаций. Словом, и здесь живых денег не предвиделось.

Пришлось-таки ехать за океан. Путь Михаила Сергеевича лежал в Канаду и США. На аэродроме в Канаде был расстелен красный ковер, выстроен почетный караул. Перед началом церемонии особист доложил Горбачеву, что в Москве председателем Верховного Совета РСФСР избран Ельцин. Я находился рядом и отчетливо запомнил реакцию четы Горбачевых на это известие. Михаил Сергеевич с досадой крикнул, но спохватился и на бодрячке произнес:

– Всего на два голоса больше получил... Ну что ж, будем с ним работать!

И он с деланным оживлением потер руки.

Совершенно иной была реакция Раисы Максимовны. Она сильно побледнела и прошептала побелевшими губами:

– Как же так... что же не могли против него посильнее кандидата найти?

В Раисе Максимовне было много от привычного образа школьной учительницы. Она должна была знать ответы на любые вопросы. В Канаде и Америке я дважды был в музеях во время их осмотра супругой Горбачева. Думаю, что она заранее готовилась к посещению музеев и поэтому нередко приводила в замешательство наших гидов, обнаруживая знания не только картин, но и их судьбы, и вообще всего, что с ними связано. Она любила, чтобы их с Михаилом Сергеевичем тандем был во всём первым. Не удивительно, что она глубоко переживала падение авторитета своего супруга, считая крайне несправедливым возвышение Ельцина.

Омрачали ее и сподвижники Горбачева, которые, как, например А.Н.Яковлев, быстро меняли ориентацию. Она буквально требовала, чтобы Михаил Сергеевич порвал все отношения с изменником, и какое-то время Горбачев действительно перестал здороваться с Яковлевым.

Огорчил Горбачева и неожиданный уход в отставку с поста министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе, озвучившего к тому же на сессии Верховного Совета СССР мрачный прогноз

на будущее: «Будет диктатура, я вам говорю». После печально известного путча ГКЧП судьба Горбачева как руководителя страны была предreshена, хотя он никак не хотел осознать это. С момента, когда Ельцин возглавил Верховный Совет России и пошел на взаимовыгодный симбиоз с мощной оппозицией, выступавшей против КПСС под демократическими и популистскими лозунгами, Горбачев надеялся выплыть за счет тактической изворотливости. Он рассчитывал, что сможет встать над схваткой демократов, поднявших на щит Ельцина, и консервативных сил, стремившихся не допустить перемен. Однако ни те, ни другие в нем уже не нуждались. В свое время Горбачев оградил Ельцина от грозившей ему гораздо более жесткой расправы за подрыв линии КПСС. Но ему не приходилось ожидать ответного великодушия.

Осенью 1989 года мне довелось встретиться с Борисом Николаевичем на вечеринке, устроенной американским журналом «Бизнес Уик» в арбатском ресторане «Прага». Народу было мало. Никто из высокопоставленных советских чиновников не принял приглашения, не в последнюю очередь из-за того, что туда пригласили Ельцина. Он явно скучал среди учтивых иностранцев, и вскоре мы разговорились. Не скрою, мне было интересно понять непосредственно из первоисточника суть «бунта Ельцина». Вскоре я убедился, что Ельцин отнюдь не испытывает благодарности к Горбачеву за то, что Генсек оставил его в номенклатуре, приютив в Госстрое СССР. Он буквально страдал от оскорбительной, по его мнению, снисходительности Горбачева. Не для такой должности он рискнул гораздо большим – карьерой во всесильном Политбюро КПСС. За полтора часа разговора Борис Николаевич не выказал никаких идейных пристрастий к демократии. Зато он прекрасно чувствовал слабость горбачевского правления и неспособность КПСС обуздать джина, выпущенного из бутылки, унять разбушевавшуюся народную стихию. И еще мне стало понятно, что, оказавшись Горбачев в положении Ельцина, Борис Николаевич не стал бы с ним так церемониться. В заключение Ельцин, посчитав меня, очевидно, сочувствующим, дал мне свой домашний телефон и попросил звонить. Было очевидно, что дипломаты, равно как и представители силовых структур, ему по сердцу.

Овладев креслом председателя Верховного Совета России, Ельцин повел планомерную атаку на союзные органы власти. После провала путча Ельцин практически отбросил всякую маскировку и в открытую стал давить союзные структуры. В узком кругу младемократов он прямо говорил, что эти структуры нужно «рвать зубами».

Об этих указаниях шла речь и на одном из первых совещаний Совмина России, куда я был приглашен как «сочувствующий», не взирая на мою союзную должность.

Российский министр Козырев, бывший до этого в союзном МИДе начальником управления, громко удивился тому, что я оказался в зале, но председатель российского правительства Силаев сказал:

– Ничего, это – свой!

Став Президентом России, Ельцин явно упивался открывшимися принципиально новыми рычагами давления. В период безраздельного правления КПСС всякие подобные штучки были излишни, поскольку самым эффективным методом была прямая расправа. Теперь же можно было отключить свет, тепло, не платить зарплату – и все это под прикрытием ссылок на те или иные параграфы различных подзаконных актов.

Помню, какой ажиотаж поднялся в союзном МИДе, когда Моссовет, куда мэром пришел один из лидеров «Демократического выбора России» Г.Х.Попов, потребовал срочной оплаты аренды здания и его эксплуатации. Денег не было, так как Россия зажала свой взнос в союзный бюджет. Новый министр Панкин звонил в моем присутствии Горбачеву, жалуясь на произвол, и Президенту СССР стоило немалых усилий уговорить Ельцина – «приоткрыть кислород».

Не удивительно, что в союзном стане с каждым днем усиливались разброд и шатания. Горбачев возлагал главные надежды на скорейшее подписание так называемых «Новоогаревских соглашений», призванных разграничить компетенцию Союза и Республик. И хотя вся реальная власть перешла бы в республики, Горбачев был готов и на это, рассчитывая, что сохранение Союза и должности Президента СССР со временем позволит вновь набрать силу Союзному центру. В этот период

междущарствия своеобразную роль играли две фигуры: спикер Верховного Совета России Руслан Хасбулатов и один из лидеров младедемократов Григорий Явлинский.

С Хасбулатовым я познакомился в 1987 году, когда он принес ко мне в Управление свою кандидатскую диссертацию на внешнеэкономическую тему. Естественно, что у нас в этой сфере багаж был сильнее, чем в «Плехановке», и я буквально разнес представленный текст.

Руслан, однако, нисколько не обиделся, не стал в позу, а через месяц принес вполне приличное исследование. Я был буквально поражен его трудоспособностью и живым, пытливым умом. Вскоре мы стали друзьями.

Когда в последний день путча я вернулся в Москву (мой отпуск продлился всего 5 дней, так как руководство потребовало срочного возвращения в МИД), то вскоре позвонил Хасбулатову в «Белый Дом». Руслан, услышав мой голос, сказал:

– Слава богу, что ты не замешан в путче! Я так боялся за тебя.

Я был искренне тронут такой заботой, и в дальнейшем мы часто встречались. Он, конечно, был полностью посвящен во все хитросплетения «междущарствия», и я, подолгу просиживая у него в кабинете, увидел многое, что могло бы остаться недоступным.

У Хазбулатова очень скоро начались нелады с командой Гайдара, щеголявшей западным экономическим жаргоном и терминами из учебника Самуэльсона. Хасбулатов пытался доказать Ельцину, что команда Гайдара-Шохина не должна управлять хозяйством страны, и возмущался тем, что Ельцин не понимает, с кем связался. Но Ельцин и не желал это понимать, ему было важно показать, что системе управления, доставшейся Горбачеву, есть готовая альтернатива. И многие – в первую очередь творческая интеллигенция – восторгались джентльменской манерой выступлений Гайдара, казавшихся глотком свежего воздуха после стольких лет казенных и заносенных до неприличия отчетных докладов.

Естественно, не обходилось и без ревности. Хасбулатов видел, что Ельцин все больше опирается на своих молодых выдвиженцев и не хочет считаться с Хасбулатовым как самостоятельной

фигурой. Но пока был Горбачев, эти противоречия оставались за кадром, так как его власть еще не была окончательно сокрушена. Хасбулатов и Ельцин были согласны в том, что Горбачев, после устроенного ему после путча публичного унижения в Верховном Совете России, стал проявлять неожиданную энергию и даже стремился перехватить демократическую инициативу. В этот период Хасбулатов верой-правдой работал на Ельцина, особенно в регионах, где он убеждал осторожных республиканских лидеров на востоке страны в полной надежности Бориса Николаевича. В этом смысле он сыграл значительную роль в подрыве позиций Горбачева за пределами Москвы. Тем горше было ему потом осознать, что им всего лишь воспользовались для большой политической игры. А Михаил Сергеевич действительно решил срочно «окопаться» и создать мобильный центр, способный выдержать надвигающуюся грозу. Поэтому его метания, случайные «находки» вроде выдвижения Янаева на пост вице-президента СССР были отнюдь не чудачествами – все это происходило не от хорошей жизни. В такой лихорадочной обстановке взор Горбачева упал на молодого «экономического вундеркинда» Григория Явлинского, которого привел к нему Евгений Примаков. Меня также намеревались включить в «центр». Евгений Максимович показал мне проект указа о назначении меня на руководство Госпланом в качестве (на английский манер) первого заместителя первого вице-премьера правительства. Имелось в виду, что я буду первым заместителем В.Щербакова, бывшего первым заместителем председателя Совмина Павлова. Это была инициатива Щербакова, стремительно продвигавшегося по служебной лестнице.

Еще недавно я не посмел бы отказаться, хотя во мне все буквально вопияло против такого выдвижения. Но тут я срочно кинулся к Щербакову, с которым у нас были приятельские отношения:

- Володя, зачем тебе класть все яйца в одну корзину?
- А что, – удивился Щербаков, – не хочешь со мной работать?
- Не в этом дело, – отвечал я, заранее обдумав свою аргументацию. – Ну, кто у тебя есть в МИДе? Кто все твои поручения по зарубежным делам будет так оперативно выполнять? А ведь роль внешних дел будет для тебя все более важной...

В общем, мне удалось переубедить Щербакова. Когда я сообщил об этом Примакову, тот пожал плечами:

– Странно, он же сам настаивал...

Вскоре мне довелось познакомиться с Явлинским, причем, довольно необычным образом.

Утром у меня в кабинете раздался звонок по «вертушке».

– С вами сейчас будет говорить Григорий Алексеевич Явлинский.

Я, конечно, слышал о нем как о новой звезде в области экономики, авторе программы «500 дней». Еще при встречах с академиком Шаталиным он сказал мне, что исследовательская группа Явлинского-Михайлова предложила ему возглавить проект «500 дней», призванный за этот срок перевести экономику страны на рыночные рельсы. Силы академика иссякали, но он все же пошел на риск и поставил свою подпись под проектом, который на Западе так и проходил, как «Программа Шаталина». Проект стал предметом нападок всей дипломированной науки и так и не стал правительственной доктриной, но принес немалые лавры Григорию Явлинскому.

Когда меня с ним соединили (ему к тому времени дали немалую должность – что-то вроде одного из главных советников Президента СССР), я удивился командному тону известного мне по фотоснимкам кудрявого юноши:

– Вы как будто специалист по международным экономическим организациям? Попрошу Вас завтра в 8 утра прибыть ко мне с тем, чтобы проинструктировать меня в этой области.

«Вот нахал», – подумал я про себя, а вслух ответил:

– Извините, но у меня несколько другие планы на завтрашний, а также на последующие дни...

– Ах, вот как, – зловеще произнес Явлинский, и тут же бросил трубку.

Я почти сразу же забыл об том забавном эпизоде, но не тут-то было. На следующий день после обеда проходила обычная коллегия МИДа, на которой вне регламента взял слово замминистра Владимир Петровский, представлявший МИД на совещаниях в Новоогарево.

– Все мы любим Эрнеста Евгеньевича, – начал Петровский, – но он нас подставил...

– То есть как? – поднял голову новый министр Борис Панкин.

– Очень просто, – отвечал Петровский, – вчера вечером в Новоогарево Явлинский пожаловался Горбачеву, что МИД отказывается с ним сотрудничать...

– То есть – как? – уже с возмущением воскликнул министр.

– Явлинский вчера звонил Эрнесту Евгеньевичу, просил встретиться, но он его отфутболил...

Мне пришлось объясняться, Панкин сказал, что переговоры с Явлинским, и уже через день мне все же пришлось отправиться в правительственное здание на бывшей улице Степана Разина, где раньше размещалось министерство электростанций. Теперь здесь сидел Явлинский, который оценил мой угрюмый вид и, надо отдать ему должное, сделал все, чтобы расположить меня в свою пользу. С ним было легко работать. Он умел слушать, вопросы задавал по делу, а стенографистка распечатывала для него мои «лекции». К тому времени у меня за плечами было немало первопроходческих контактов с Мировым банком, Валютным фондом, Комиссией Европейского содружества, Парижским клубом кредиторов и т.д., и для молодого парня из Львова это, вероятно, звучало, как какое-нибудь танго типа «В далекой, знойной Аргентине». Однако, вскоре я понял, что вначале недооценил Явлинского – у него были серьезные политические амбиции, а не только стремление пробиться в высший свет международных финансов.

Через какое-то время Горбачев санкционировал поездку в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Бейкером. В делегацию, помимо Примакова, входили Щербаков, Явлинский и я.

Во время беседы с Бейкером в уютный зальчик как бы ненароком вошел президент США Буш-старший. Он так и сказал:

– Вот, шел мимо, дай, думаю, зайду.

Среди нас его больше всего интересовал Григорий Явлинский, и именно ему он задавал вопросы о будущем России. Григорий был явно не готов к появлению президента и, хотя и бойко, отвечал довольно общими рассуждениями. Было видно, что президент ожидал большего, и тут же ушел из зала.

Тем не менее, после переговоров мы сочинили помпезную бумагу для Горбачева, в которой появление Буша толковалось как проявление незыблемой веры Америки в президента Горбачева и, естественно, его советников.

Влияние Явлинского особенно возросло во время подготовки «Новоогаревских соглашений». Он энергично курсировал между Кремлем и «Белым Домом» у Москвы-реки, с удовольствием разыгрывал роль «третьей силы». Ельцин тогда не только не скрывал, но даже демонстративно выпячивал свое пренебрежительное отношение к Горбачеву, а президент СССР вынужден был это терпеть. Поэтому когда Явлинский с многозначительным видом появлялся в Кремле из ельцинского лагеря, Горбачев жадно расспрашивал его о том, что там происходит.

Как-то мне пришлось быть у Горбачева по вопросу будущей компетенции Президента в отношениях с международными организациями.

Появился Явлинский и включился в разговор:

– Ничего не выйдет, – сказал он важно, – там этого не одобряют.

Ему не было необходимости пояснять, где это «там», – и так было понятно.

– Ну, почему же, – обескуражено возражал Горбачев, – он же должен понять, что это – в наших общих интересах...

В ответ Явлинский только покачал головой и многозначительно добавил:

– Я же знаю, что говорю.

Но в ельцинском окружении акции Явлинского быстро падали. Он хотел слишком многого – встать на тот же уровень, что и два оппонента. Соответственно, и его вес у Горбачева не стал от этого выше.

Среди метаний Горбачева того периода анекдотическим выглядело выдвижение на пост вице-президента СССР комсомольско-профсоюзного работника Янаева, который явно не тянул на такой уровень, а главное – не только не усилил позиции Горбачева, но и ослабил их даже у тех, кто еще верил в него.

Показательной для заключительной агонии советского государства была следующая сцена: пролетом в Пекин на аэродроме «Внуково» приземлилась делегация ФРГ во главе с президентом страны Вайцекером. Янаеву и мне было поручено устроить там же обед для делегации. Я нервничал, сидя в правительственном ЗИЛе, поскольку Янаев опаздывал. Наконец он появился, изрядно под хмельком, и мы поехали. В дороге я что-то говорил ему о полномочиях президента, о личности самого Вайцекера, но он угрюмо молчал. К встрече мы опоздали, и делегация уже была в ресторане. На дворе стоял мороз, и в нетопленном зале наши гости сидели за столом в пальто и шубах. Я пытался узнать, почему не топят, но какой-то местный начальник посмотрел на меня с сожалением и сказал:

– Ишь чего захотел! Катились бы вы все...

После того, как все познакомились, и нам подали вино и закуску, президент ФРГ ожидал, что Янаев скажет слова приветствия, и выжидающе смотрел на него. Но тот сосредоточенно занимался своей рюмкой и закуской и, казалось, не замечал ничего вокруг. Я не выдержал и сказал ему, что надо бы, мол, поприветствовать президента и делегацию. На это Янаев мрачно заметил:

– Обойдутся!

Не выдержал и президент ФРГ. Он встал и произнес витиеватую приветственную речь. Я переводил Янаеву, стараясь взбодрить его и подвигнуть на ответный тост. Но все было напрасно. Выслушав речь, он кивнул головой президенту и принялся за винегрет. Чтобы сгладить неловкость, пришлось завязать общий разговор, но немцы, конечно, все поняли и оценили, обмениваясь многозначительными улыбками...

В атмосфере растерянности и безысходности высокий статус Горбачева с каждым днем терял свое реальное содержание и превращался в формальность.

Михаил Сергеевич предпринял еще одну попытку обуздать центробежные силы. Я имею в виду «второе пришествие» Шеварнадзе в МИД. Горбачев видел, что на совещаниях в Новоогарево союзный МИД объективно был больше других заинтересован в сохранении союзного центра и укреплении его полномочий.

Шеварнадзе со своим почти сбывшимся пророчеством о грозившей диктатуре (эту фразу очень многие оценили как предсказание о грядущем путче ГКЧП) стал еще более заметной, хотя и неоднозначной фигурой в общественном мнении. Вместе с Ельциным он торжествовал победу над ГКЧП у Белого Дома. Поэтому для Горбачева было выгодно вернуть его в МИД СССР как соратника демократов.

В одно хмурое утро Горбачев лично привез Шеварнадзе в МИД. Накануне вечером я был у теперь уже бывшего министра Панкина, который не скрывал своей горечи по поводу такого «вероломства» Горбачева. Он ведь тоже взлетел в кресло министра как посол-демократ, но ему через пару месяцев предпочли другого.

Едва Горбачев успел попрощаться с нами, Шеварнадзе тут же пригласил меня к себе. Он был полон энтузиазма и в более конкретной форме изложил концепцию, которую только что мы на коллегии слышали от Горбачева. МИД должен был превратиться в межреспубликанский политико-экономический центр, взять в свои руки и преобразовать главные экономические рычаги страны из командных в координационные. Я вынужден был сразу же глубоко разочаровать Эдуарда Амвросиевича, представив ему всю картину необратимого развала союзного управления экономикой. Ни МИДу и никому другому не удастся изменить ход событий и остановить этот развал, – так закончил я свое резюме.

Шеварнадзе заметно помрачнел и сказал:

– Я хотел предложить вам заняться этим в качестве моего первого зама.

Мы расстались молча, почти отчужденно.

Через три дня, находясь в командировке, я узнал, что первым замом по экономике назначен «варяг» – один из активистов-демократов, мой хороший знакомый – Александр Владиславлев. Я подумал, что вот так же три года тому назад я, будучи за рубежом, узнал о своем назначении на должность заместителя министра МИД СССР.

Когда я вернулся, первый звонок в моем кабинете был от новоиспеченного зама. Он пытался убедить меня, что не хо-

тел подставлять мне ножку, что сам узнал о своем назначении по радио. Он явно удивился, услышав, что не только не в обиде на него, но, напротив, желаю ему всяческих успехов и готов дружески сотрудничать. Мне показалось, что он мне не очень поверил.

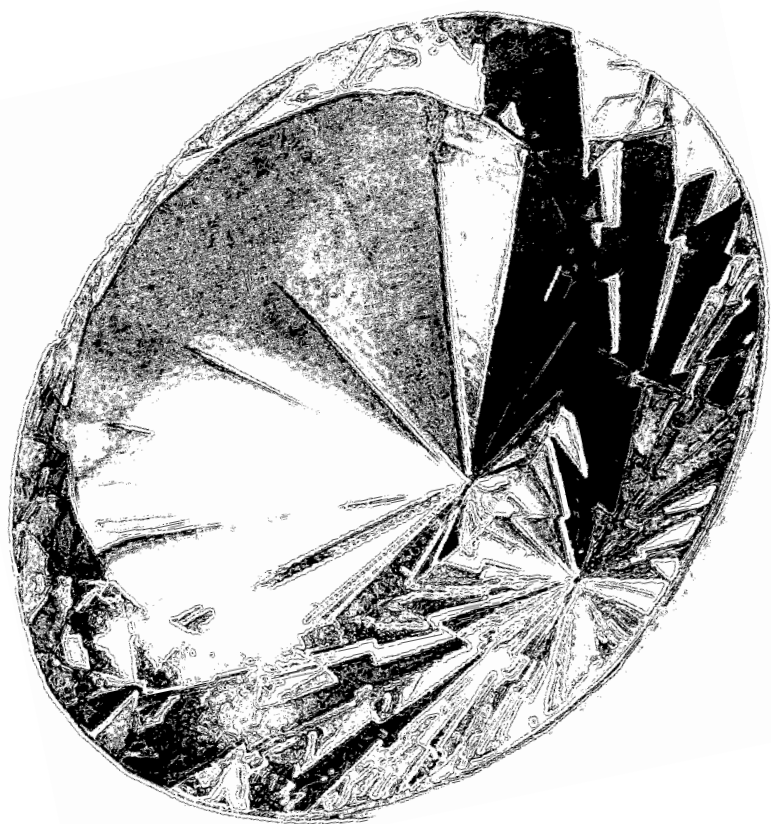
Словом, тучи на союзном горизонте сгустились настолько, что гром не мог не грянуть. «Беловежская пуща» подвела печальный итог агонии союзного государства. Карты смешались, и Михаил Сергеевич, недавний козырный туз, – превратился в короля Лира. В этом своем новом качестве он обнаружил недюжинный характер, с достоинством перенес глумления и насмешки, чем поставил в глупое положение своих мстительных недругов.

Для общей оценки перевоплощений Горбачева показательна моя недавняя беседа с видным немецким политическим деятелем.

– Вы знаете, – сказал он мне, – как мы любим Горбачева, и как непопулярен он у вас на Родине. Почему? Постараюсь объяснить. Во всем мире популярен бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт как дальновидный и гуманный деятель. Но у нас, в Германии, очень многие немцы считают его предателем. Ведь именно он подписал соглашение о незыблемости границ по Одеру-Найсе, чем навсегда погубил голубую мечту о возвращении бывшей Восточной Пруссии в лоно Германии. Пусть бы эта мечта оставалась нереальной, но Брандт ее развеял, и этого ему не могут простить. Так же и Горбачев. Не у всех, но у многих в бывшем СССР была голубая мечта о построении коммунизма. Она была нереальной, но ради нее шли на немыслимые жертвы и лишения. И вот мечту разрушили. Несчастья всегда стараются персонифицировать, и в данном случае подставился Горбачев, хотя он меньше многих других деятелей отступал от «идеала». Результат: его любят на Западе и едва терпят в России. Еще один парадокс истории.

Мне оставалось только присоединиться к этому мнению.

Лёд и пламень



Светлана ФЕЛЬДЕ
Хеннеф

ИЗ БЕСКОНЕЧНОСТИ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Из досье: Александр Шапиро родился в 1966 году в Москве. Получил математическое образование. Участвовал в поэтическом семинаре К.В. Ковальджи. С 1995-го живет в Дании, профессор физхимии в Датском Техническом Университете (Копенгаген). Постоянный автор Интернет-журнала «Вечерний Гондольер» и литературного альманаха «Пилигрим».

— Александр, распространена такая точка зрения, что существует, мол, столбовая поэтическая дорога, некий мейнстрим. А остальное – концептуализм, метафоризм и прочие – это все отклонения, нарушения канона. Какой дорогой идете вы?

– В этой классификации – к мейнстриму. Хотя точка зрения предельно упрощенная, на мой взгляд. Скажем так: в поэзии мне смысл важен, а стёб и формальное конструирование неинтересны сами по себе и неприемлемы как отношение к миру. Другое дело, что и стёб, и конструирование, и многие другие способы писать я мог бы использовать в свое время и на своем месте. В этом смысле я не замкнут, не зафиксирован на том, чтобы во что бы то ни стало нужно следовать традиции. В поэзии главное – естественное дыхание, а естественность – понятие временное, сиюминутное. Я счастлив быть современником поэтического взрыва, богатейшего разветвления поэтической культуры, когда от канона, мейнстрима, по существу, мало что остается.

– Есть две точки зрения на поэтические творения. Первая: нужно впускать туда поменьше современности – не дай Бог попадет в стихи линия электропередачи. Надо писать о «серебряном аккорде», одиночестве. И вторая: наоборот, надо «воспевать» ЛЭП, нэп, реформы, алюминий...

– Если вдуматься, линия электропередачи – очень богатый образ. Вот эта линия – безразлично шагающая километровыми шагами через леса, опушки, поселки, автостреды. Вот она – висящая в звенящем воздухе на опорах, протянутая из бесконечности в бесконечность, несущая огромную энергию, как заряженную весть, неизвестно откуда, куда и кому. Эта энергия может убить – но она же дает жизнь. Существование и одного человека, и человечества можно сравнить с такой линией электропередачи, протянутой не в пространстве, а во времени... Я ответил на ваш вопрос?

Мне кажется, что этот мир – не результат акта творения, который был когда-то давно. Мир и есть акт творения. Мы его свидетели и участники. Его грандиозность, сложность и драматичность захватывает, как она захватывала наших предков во все века существования поэзии и как, надеюсь, будет захватывать потомков. А значит, современность и вечность являются образами друг друга, существуют друг в друге. Вопрос в том, чтобы ощущать эту связь.

– Еще хочу спросить о пафосе в поэзии. Он чуть ли не насильно культивировался советскими редакторами. Потом десятилетие его снижали, выстёбывали, мистифицировали, в частности, концептуалисты. А ценится ли в поэзии пафос?

– Сейчас из поэзии уходит не только пафос. Уходят эпика, философия, мораль, природа, описательность, гражданственность. Да и стёб, в конце концов, уходит. Остается достаточно бедная личная палитра, состоящая из вздернутой психологии и фиксаций сиюминутных темных озарений. Или, наоборот, пишущий уходит в то, что ему представляется вечным, – в древних греков каких-нибудь (о вечности см. выше). Есть, конечно, исключения, их достаточно много, слава Богу, и именно они меня привлекают. У хорошего поэта все идет в дело: и пафос, и стёб, и древность, и современность. Надо только верный тон найти, верное сочетание. В конце концов, пафосные, гражданственные стихи и Мандельштам писал.

– Андрей Вознесенский, поэт, как-то заметил, что в XIX веке у Тургенева и Толстого было время думать, а сейчас этого нет. Вы с этим согласны?

– Конечно, нет. Как говорил один из моих начальников, кто хочет – ищет возможность, а кто не хочет – ищет причину. И Толстой, и Тургенев были не менее заняты, чем мы с вами (активность Толстого вообще поражает). Кроме того, в их время люди жили меньше, старели раньше, гибли в молодом возрасте – во всяком случае, рассчитывали на более короткую жизнь, реально помнили о смерти. Вопрос, и тогда и сейчас, был в активном, сознательном управлении своим временем. Неспособен думать – неча на век валить...

– Среди шестидесятников были Ахмадулина, Окуджава, Бродский и так далее, а сегодня то ли условия публикации, то ли еще какие-то причины не позволяют такой харизме, как, скажем, у Кафки, заявить о себе. Вы можете назвать среди современных стихотворцев поэтов, отмеченных печатью гениальности?

– Как я говорил уже, мы живем в эпоху поэтического взрыва. Количество и разнообразие пишущих таково, что выделять из них «гения» как-то неприлично даже. Я знаю, наверно, не меньше пятидесяти авторов, каждому из которых я обязан захватывающими дух переживаниями. Когда еще было в русской поэзии такое разнообразие?! За весь золотой девятнадцатый век хороших, интересных и по сей день поэтов, дай Бог, с десятков наскребешь. Более того, в моем личном списке современников есть имена, которые вряд ли что скажут не только широкой публике, но и знатокам. Уверен, что таких имен гораздо больше, чем я знаю. Таким образом, хотя я ничего не могу сказать о гениях-поэтах, «гений Поэзии», безусловно, живет и даже расцветает. Возможно, в будущем, выделятся какие-то лидеры, но возможно также (и даже вероятно), что от нашего времени останутся антологии, как они остались от средневековых японцев. Ничего неприятного в последнем варианте я не вижу.

– Если бы вас допустили к составлению хрестоматий для школьников или студентов, чьи имена вы бы в них внесли?

– Я бы поместил в них не имена, а произведения. Более того, это были бы не обязательно вершины творчества. Если речь идет о хрестоматии для школьников, стихи должны быть такими, чтобы ввести в поэзию неискушенного читателя. Помню, на меня в детстве большое впечатление произвел Бернс в переводах Маршака – «Давно ли цвел зеленый дол...». Я и сейчас благодарен шотландскому барду, но уже вряд ли отнесу к высшим поэтическим образцам. Так же избирательно предлагал бы я авторов и студентам. Когда меня спрашивают, с кого начинать чтение современной поэзии, я рекомендую, скажем, Дмитрия Быкова, но очень бы сожалел, если им бы все и ограничилось. Я считаю глубоко неправильным, что современных школьников учат литературе по произведениям полтора-двухлетней давности – но это отдельный разговор.

Думаю, целью этого и предыдущих вопросов было заставить меня назвать имена. Нет, я не увливаю. Честно попробовал было это сделать. И быстро увял – понял, что всех не охвачу, даже тех, кого знаю сам. А знаю мало, о чем свидетельствуют почти случайные открытия, которые происходят со мной чуть ли не каждую неделю. Вот, к стыду своему, только недавно открыл для себя автора, живущего в Германии, – Олега Юрьева, а ведь он давно печатается, многим известен, многими уважаем и любим. Или, например, в прошлом году совершенно случайно познакомился с прекрасным, переживающим взлет поэтом – Анатолием Кобенковым. За несколько месяцев до его неожиданной смерти. Тоже ведь не случайный в поэзии человек, автор нескольких книжек. А сколько существует авторов, которые пишут прекрасные стихи, но «не делают карьеры» в поэзии, не шумят, не продвигают свое имя. Поищите, например, в Интернете Ивана Жестопера – человека, который выложил было свои стихи, а потом убрал их почти все и больше не появлялся.

— *Ваше творчество расцвело именно в эмиграции?*

– Во-первых, предваряя цикл вопросов об этом явлении, должен заметить, что согласен с мнением, которое несколько раз слышал от эмигрантов предыдущих волн: наша – не совсем настоящая,

и называться эмиграцией, по существу, не заслуживает. У предыдущих поколений она означала «отсечение Родины», расставание с ней навсегда, без права не то чтобы на возвращение, но хотя бы свидания. Для меня и моих сверстников эмиграция больше похожа на переселение в другой город: в принципе, всегда можно вернуться назад или, в крайнем случае, приехать на время.

Теперь к вашему вопросу. Формальный ответ на него – да, все свои стоящие стихи я написал уже в Дании. Но, по существу, ответ более сложен – вряд ли мое активное обращение к стихам так уж связано с переселением. Писал в юности, как многие, наверное. Тогда не хватало жизненного опыта, не хватало уровня, а главное – мужества и внутренней свободы говорить о главном. Потом был большой перерыв – и несколько лет назад стихи вернулись. Вернулись, думаю, в связи с тем, что называется «кризисом среднего возраста»: неожиданным и очень острым осознанием конечности и фальшивости своего существования. С тех пор пишу всерьез.

– Чем отличается жизнь в стране Дании от жизни в городе Москве?

– Многим отличается, конечно. Например, в Москве, как и во многих других мегаполисах, сильно чувство «человека толпы». Чувство того, что ты – песчинка, никто, муравей в муравейнике. В Дании это чувство возникает достаточно редко. Или другой пример: когда я жил в Москве (почти до тридцати лет все-таки), то считался человеком рассеянным. Что соответствовало действительности: я вечно что-то терял, забывал, куда-то опаздывал. В Дании я почти этим не страдаю, во всяком случае, не в больших количествах, чем другие люди. Приезжаю в Москву – рассеянность возвращается. Наверное, в Москве для меня много отвлекающих факторов, слишком много мелочей, которые надо все время помнить. И действительно: в Дании редко когда обернешься на русскую речь.

– Почему вы решили эмигрировать?

– Причины почти чисто экономические. Я стал молодым ученым – сразу после аспирантуры в нефтяном институте. Дело происходило в середине девяностых. У меня была семья, росла дочка – зарплаты не хватало почти ни на что. Бегал по урокам, занимался какими-то случайными приработками. Мой научный руководитель уехал, мое институтское начальство, надо полагать, почувствовало запах больших нефтяных денег, и ему стало как-то не до науки. Друзья мои разошлись «по торговым фирмам», а я чувствовал – и чувствую – себя человеком со слишком академическими мозгами для такой карьеры.

Так вот, однажды, почти случайно, попал я на одну международную конференцию. Там разговорился с молодым интеллигентным датчанином, Эрлингом Стенби. Говорили мы, как помню, обо всем, кроме науки: об истории, политике, музыке. На следующий день Эрлинг пригласил меня поработать временно у него в центре, которым, как выяснилось, он руководил. Я приехал – и вот подзастрял как-то. Получил постоянную позицию, читаю лекции, учу студентов и аспирантов.

– Поделитесь своим опытом эмиграции. Печальным, успешным... Разным...

– Это для меня опыт жизни. Здесь уже со мной произошли все важные события, которые могли бы произойти, – кроме одного, которое, я надеюсь, произойдет еще не очень скоро. В отличие от многих эмигрантов, у меня сравнительно просто и безоблачно сложилась карьера: я приехал по приглашению, здесь меня оценили, и я никогда не менял места работы, да и не хочу. С другой стороны, я постоянно чувствую недостаток воздуха, что ли, недостаток активной культурной жизни, которой наслаждаюсь каждый раз, когда попадаю в Москву.

Русские здесь – как в маленьком поселке, провинциальном городке, где каждый знает каждого. Или, если хотите, как в маленькой колонии, окруженной невраждебными, но все-таки чужими аборигенами. Общения катастрофически не хватает, особенно общения литературного. Поссориться с человеком толком нельзя, потому что разбежаться по разным углам бес-

конечного города и больше никогда не встречаться не получается. Все ходят на одни и те же тусовки, учат детей в одних и тех же кружках, приходят на одни и те же свадьбы и похороны. Сплетни, опять же, обегают наше маленькое сообщество многократно, в несколько кругов, делают любой нюанс личной жизни всеобщим достоянием. Всем все обо всех известно – кто с кем, когда и в какой позе. Короче, несмотря на Интернет, на Европу, на возможность свободных поездок по миру – сообщество провинциализируется, консервируется, замыкается на себе и на прошлом. Очень хотелось бы этого избежать.

– Вы бывали в Германии? Если да, то какое впечатление оставила у вас эта страна?

– Был несколько раз, хотел бы быть больше. Провел по несколько дней в Байрейте и Аахене, гулял по Лейпцигу и Нюрнбергу, заезжал в Гамбург, Франкфурт и Кёльн. Мне Германия, на самом деле, очень нравится, хотя я понимаю, что это взгляд поверхностный, взгляд туриста. Мне нравится жизнь в немецких городах, по моим ощущениям – в целом здоровая и естественная. Мне нравится обильно поесть в дешевых немецких харчевнях, хотя к сосискам и пиву я отношусь не очень хорошо. Мне нравится особое ощущение истории, которым пропитаны старые центры городов. Мне по душе немецкие ученые – умницы, интеллигенты, профессионалы, честные беззаветные работники. Я никогда не встречал к себе негативного отношения на улицах в Германии – всегда дружелюбие, открытость, желание помочь. Повторяю, речь идет о впечатлениях туриста.

Впрочем, есть очевидное исключение: немецкая бюрократия, немецкая полиция. До сих пор помню лицо того полицейского, не пограничника даже, который заявил, что мой паспорт недействителен и хотел меня арестовать. Оказалось, я забыл расписаться под фотографией. До того я с этим паспортом прошел штук десять разных пограничных контролей – никто не заметил. Только когда я доказал этому столпу законности, что я возвращаюсь в Данию на следующий день, он, изрядно помурывив мне нервы, согласился отпустить.

– Какова, на ваш взгляд, главная проблема сегодняшней литературы в эмиграции?

– Провинциальная атмосфера, о которой я говорил выше. Недостаток живого общения, живой аудитории. Мне, скажем, это не очень важно – я вообще не читаю своих стихов на публику – но знаю таких, которые от этого страдают. А так, благодаря Интернету, поэты диаспоры находятся в достаточно плотном общении с метрополией и друг с другом и могут худо-бедно найти себе читателя и издателя. У меня другая проблема, которую, возможно, я разделяю со многими: недостаток непосредственных впечатлений от нынешней российской жизни, ее воздуха, атмосферы, просто случайно услышанных фраз на улице. Это чревато потерей общего тона с литературой метрополии, уходом в никому не интересные абстракции.

– Писатели почти всегда живут более чем скромно, а вот чиновники почти всегда процветают. Как вы думаете, почему?

– Вопрос, как я понимаю, о России и республиках бывшего СССР. В Дании творческие люди, в общем, чувствуют себя неплохо, а чиновники мало чем отличаются от просто наемных тружеников. Если под творческими людьми подразумеваются литераторы, то здесь все просто возвращается к естественному ходу вещей. Они редко где и когда много зарабатывали, существовали на литературные заработки. Им всегда приходилось делать что-то еще. Или становиться придворными восхвалителями богатых и знатных феодалов.

Что касается науки – еще в Советском Союзе распалась связь между ней и производством. Связь эта сложная, непрямая, многоступенчатая, но в Европе, скажем, она выстроена и поддерживается. После распада Союза, когда производство стало «рубить бабки», чем быстрее, тем лучше, а государство вообще плюнуло на какую бы то ни было научную стратегию, ученые оказались как бы не у дел. Но это отдельная долгая тема.

По моим поверхностным наблюдениям, Россия уверенно движется куда-то в сторону Третьего мира – в ней выстраивается

именно такой тип человеческих и экономических отношений. Воровское, коррумпированное государство, неустойчивая демократия с риском установления более или менее сильной диктатуры, всплески бессмысленного милитаризма, полукриминальная экономика, неостановимая преступность, огромная разница между бедными и богатыми – все это человечество проходило многократно и проходит до сих пор, скажем, в Латинской Америке. Бывал вот я в Бразилии несколько раз – и поражался не различиям, а сходствам: от пиратских дисков на уличной барахолке до алкаша в магазине, который подходит просто поговорить, потому что душа просит (и не замечает, что ты ни бум-бум по-португальски). В Бразилии, однако, ученым платят неплохо, потому что это чуть ли не единственные люди, которые приходят на избирательные участки. Везде свои национальные особенности.

– Довлатов как-то сказал, что для жен и кухарок нет гениев. Вы согласны?

– Возможно, он сказал это, разозлившись на свою жену, которая в очередной раз отказалась видеть в нем гения – он, кажется, комплексовал по этому поводу.

Я знал нескольких «кухарок», которые гордились тем, что их наниматели – выдающиеся, замечательные люди. Прислужница какого-нибудь, скажем, эстрадного композитора или кинорежиссера, безусловно, предпочитает считать его гением. Это придает значение ее работе и смысл ее жизни.

Другое дело жена. В семейной жизни подпускаешь человека очень близко к себе, видишь его со всеми достоинствами, недостатками и, что хуже, досадными мелкими особенностями – когда смешными, когда раздражающими. За деревьями иногда не видишь леса. Да и так называемая «гениальность» раздражает: человек, напряженно размышляющий над чем-то, часто уходит в себя, замыкается, отрывается от партнера, от семейной жизни. Люди ревнуют друг друга к их работе, к их желанию принадлежать себе, к их самооценности. Немногие безоговорочно подчиняются интересам другого или, по крайней мере, находят разумный компромисс. Однако это случает-

ся. Бывают «писательские жены», бывают (реже, но случаются) «артистические мужья». Сам видел.

– Можно ли талантливому человеку прощать в общении или в семейной жизни все его «невозможности»?

– Мне кажется, что «невозможность», исключительная злобность талантливых людей, – несколько преувеличена. Просто они более на виду, о них насплетничано больше, чем о так называемых обыкновенных, непубличных людях. Среди последних встречается, на мой взгляд, не меньше людей, склонных к мелкой и крупной домашней тирании, к беспорядку, к изменам. А в семейной жизни умение прощать (чтобы не сказать – способность наплевать и забыть) – вообще чуть ли не главное положительное качество. Как, впрочем, и способность вовремя выяснить отношения и освободиться от груза взаимного непонимания.

– Как вы считаете, личность творческого человека и его творчество – они обычно гармонизируют или вступают в противоречие? Как это у вас?

– Наверно, это зависит от типа человека. Поэты подчас «строят себе биографию», создают из своей жизни своего рода произведение искусства, комментариев к собственным произведениям. Подчас, но не всегда: Китс, кажется, говорил, что из всех земных созданий самое непоэтическое – это поэт.

А как это у меня – я просто не знаю. Я плохо вижу себя со стороны, часто даже забываю посмотреть в зеркало. Просто живу, пишу, пока пишется.

– Как вы считаете, в чем принципиальное различие между талантом мастерового и талантом художника?

– Ответ, наверное, в моей любимой цитате из Евангелия от Фомы: «Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком». Если твое творчество подчинено ремеслу,

имеет целью высшие ремесленные достижения, ты – мастеровой. Если ремесло служит творчеству, ты – художник.

– *Идентичны ли для вас – в творчестве – понятия красоты и истины?*

– Нет, отношения между красотой и истиной более сложны. В том, например, что говорил Фрейд или, скажем, Кафка, есть немалая (хотя и неполная) доля истины. Красивыми эти истины не назовешь. Хотя своя привлекательность в них имеется. И уж, безусловно, это истины творческие, или, во всяком случае, были таковыми в момент своего открытия. Возможно, в каком-то высшем, абсолютном идеале, красота тождественна истине. Но я в недостаточной степени философ или теолог, чтобы рассуждать на эту тему. Во всяком случае, когда я пишу, об этом не думаю совсем.

– *Великое множество появляющихся сейчас книг направлено на то, чтобы наглядно продемонстрировать читателю: литература и быт равны. Немного технического умения, да, пожалуйста, и все. Показательна в этом отношении позиция всенародно известного писателя Б. Акунина. Он совершенно четко определил всю свою деятельность как коммерческий проект. И ничего более. Хотя бы честно. И слов не надо про «творчество». Все ясно: человек зарабатывает деньги... Правильно?*

– Я не готов судить о прозе в целом. Честно говоря, я прозы читаю очень мало, и читаю ее как уж совсем простой читатель. Как метко выразился мой брат: я хотел бы, чтобы книжка была интересной. А если потом можно еще и подумать, то совсем здорово. Мой брат, кстати, подчас читает такие книжки, за которые я и взяться-то боюсь. Кроме того, я всеяден. Я благодарен автору за доставленное наслаждение. А если таковое не доставляется – закрываю книжку.

Так вот, если говорить предметно, некоторые книжки Акунина доставили мне искреннее удовольствие. Особенно ранние, последние – меньше. Как писал Пушкин, «писателя надо судить по законам, им самим над собою признаваемым». И не

его вина, что эти законы нас не устраивают. А отношение к деньгам-славе у каждого свое. Тут уж, по словам Фомы, кто кого съест: ты богатство и славу, или они тебя.

Хотя вот, например, Михаил Шишкин мне нравится гораздо больше. Вот уж действительно писатель редкой значимости, проникновенности и серьезности.

– Расскажите о самом дорогом, что у вас было в Москве. Что сохранилось в памяти?

– Все то же, что и у всех. Друзья. Учителя и ученики. Роскошь свободного, яркого общения. Работа, работа. Влюбленность и любовь. Рождение дочери. Молодость, в конце концов.

Когда-то очень любил старый город. Мог гулять по нему часами. Теперь, с каждым моим приездом, вернуть это чувство становится все труднее. Все труднее разглядеть идеальный образ Москвы за новыми наслоениями. Город меняется, становится невозможно шумным и как-то неуместно фальшивым, как обновленный Старый Арбат. В город моей юности уже не вернуться.

– Когда вы поняли, что любите Данию?

– Во всяком случае, я ненавижу, когда собирается русская компашка, и все по кругу ругают датчан, кроют местные порядки – должно быть, сравнивают все с идеальной страной, которой не существует.

Не думаю, что это свидетельствует о моей какой-то особенной любви к Дании. Я тоже, наверное, люблю только идеальную страну, которой не существует. Страна, в конце концов, не девушка, чтобы ее любить. Но мне, в общем, нравится жить здесь. Это теперь мой дом. В нем есть свои недостатки и неудобства, но я приспособился.

– Как рождаются ваши стихи? Вы чувствуете их приближение?

– Я обычно пишу стихотворение подолгу, часто неделями. Начинается все, как правило, с некоего предощущения стихо-

творения, с интуитивного осознания того, что вот так, на этой волне, нечто может получиться. Это предощущение очень редко снабжено формальными признаками стиха: сюжетом, конкретными словами; разве что – «музыкальными» признаками, аллитерациями, ритмом. Дальше начинается работа, в основном – работа душевная. Углубление пространства, которое видится за первоначальной идеей, лучшее понимание того, что на самом деле хочется сказать, поиск образов и их продумывание, прочувствование, неоднократное возвращение к готовым фрагментам и их расширение. Пока, в один прекрасный день, и всегда неожиданно, стихотворение не оказывается практически готовым, и требующим только окончательной шлифовки.

– *Что вы сейчас читаете?*

– В основном, новые стихи, появляющиеся в Интернете. Из прозы – Александра Меня, «Сын Человеческий»; исторические очерки Алданова. Как уже сказал, читаю мало. «Чукча – писатель...»

– *Кого, по-вашему, из современных авторов будут читать лет через пятьдесят точно так же, как, к примеру, Пастернака, Булгакова читают сегодня?*

– Кажется, на этот вопрос я уже в общих чертах ответил. Предсказывать на пятьдесят лет вперед не возьмусь. Опыт моего поколения говорит, развитие часто непредсказуемо, мир и люди меняются быстрее, чем кто бы то ни было мог подумать. Может быть, через пятьдесят лет вообще никакого языка не будет и чтения не будет, а люди будут мыслить некими графическими образами, которые, скажем, будут непосредственно передаваться от человека к человеку при помощи каких-нибудь вживленных чипов. Нечто подобное обсуждалось в одном из моих давних стихотворений.

– *Вы – математик. Поверяете алгеброй гармонию?*

– Поверяю. И гармонией алгебры тоже. Хотя это не очень важно...



Волна

и

Камень

Михаил ХРАСИКОВ

Харьков

ХАРЬКОВ-СФИНКС

«**Ч**ужая душа – потёмки», – гласит русская пословица. А своя? Тоже, в общем-то. И душа города, даже того, в котором живёшь с рождения, – если не тьма-тьмушая, то уж сумерки точно. Однако важно, что она есть (как же живому существу без души?!), а значит – её можно разгадывать.

«*На самом деле все люди – харьковчане, только некоторые это почему-то скрывают*», – в этой гиперироничной вполне «фольклорной» фразе, приписываемой поэту Михаилу Светлову (в юности проживавшему в Харькове примерно полгода), схвачено нечто фундаментальное для «харьковской ментальности» (а она таки есть!): человек, пробывший тут хотя бы полгода-год или часто бывающий наездами, будет уже считать этот город родным, а себя – в какой-то степени харьковчанином (впрочем, действительно, не всегда это афишируя).

И чем он зачаровывает – **город-работяга, город-интеллектуал, город-торгаш, город-алкаш**, всегда «свой в доску» для бизнесмена, студента, рабочего, поэта или бродяги? Может, открытостью площадей (ведь это тут самая большая в Европе – площадь Свободы, почти 12 га!), улиц, людей, акционерных обществ, «съестно-выпивательных заведений» (как говорили в позапрошлом веке) – до последнего посетителя? Или какой-то дивной красотой – вроде и не первостатейной, а поди ж ты – глаз не отведёшь от этого фасада, от этой ажурной решётки балкончика, от этого спуска или от мелькнувшего в толпе лица (недаром же великому поэту-футуристу Велимиру Хлебникову в нищенке харьковских окраин привиделась – ни больше, ни меньше – «забывшая храм Богоматерь»)? Или спокойным трудовым достоинством? «*Сильный, как пожатие руки*» (Михаил Кульчицкий) – этого у него, **города-пролетария**, не отнимешь.

«Искусство отражает только того, кто в него смотрится», – заметил Оскар Уайльд. Город тоже отражает каждого из нас,

поскольку он – произведение искусства – в прямом смысле (искусственно созданная среда обитания, о-гороженное пространство) и в переносном (нечто, способное вызывать эстетические впечатления). Поэтому столько «Харьковов», сколько людей, давших себе труд всмотреться в этот «столичный город с провинциальной судьбой».

Харьков возник в 1654 году как крепость (строили её украинские казаки-«черкасы» и русские служилые люди) для защиты южных рубежей Московского государства от нападения крымских татар. Строился он не на случайном и не на пустом месте: в центре нынешнего города в V-IV вв. до н.э. жили скифы, а во времена Киевской Руси было славянское поселение (возможно, это его упоминает арабский писатель Ибн Фадлан в описании путешествия на Волгу в 921-922 гг., говоря о городе *Харка* как одном из больших и знаменитых городов русов). На протяжении последнего тысячелетия сарматы, хазары, половцы, аланы, поляки, немцы, евреи, греки, армяне, французы, татары, калмыки, молдаване («волохи») и представители многих других народов оставили свой след в истории этого края. *Полиэтничность и поликонфессиональность* – отличительная особенность Харькова и сегодня.

Открытость Харькова не в последнюю очередь связана с тем, что город, благодаря удачному географическому положению, оказался на перекрёстке торговых путей. Даже евреи, большинству которых в царское время не разрешалось жить в Харькове (он не входил в так называемую «черту оседлости») ещё со времён Екатерины II правдами и неправдами оседали тут, придавая особый колорит городу и построив в 1914 г. красивейшую синагогу, вторую по величине в Европе.

Значение Харькова как *города-перекрёстка* особенно усилилось с 1870-х гг., после проведения железной дороги, когда он стал крупнейшим транспортным узлом Востока Украины. Но перекрёсток, по народным представлениям, – место опасное, даже днём там стоять не рекомендуется (бедные регулировщики!), а уж ночью нечисти там – хоть отбавляй! Впрочем, полагаем, в Харькове чертей и ведьм (излюбленное место посещения последних, особенно в Пасхальную ночь, согласно

народной молве, – кафедральный Благовещенский собор, где они получают «силу») – не больше и не меньше, чем в любом другом городе. Гораздо опасней криминальные элементы: во все времена Харьков как магнитом притягивал в немалом количестве «лихих людей», причём для именованья оных харьковцы ещё в XIX в. изобрели словечко *факлы* (от французского *racleur – отребье*), не употребляющееся в других регионах Украины и России.

Харьков, бывший в конце XVIII – начале XIX в. центром Слободско-Украинской губернии, включавшей в себя часть территории нынешних Курской, Белгородской, Воронежской областей России, сегодня – город-пограничник: город на границе с Россией. Однако граница – это не только то, что разделяет, но и то, что связывает, это *место встречи* двух культур, двух этносов, место их диалога, длящегося более трёх с половиной столетий. В самом Харькове, который ещё в XIX веке не без оснований и всё-таки не совсем справедливо россияне называли «уголком Москвы», русская и украинская речевые стихии часто переплетаются, текут единым потоком. Во вполне русский разговор коренной харьковчанин нет-нет да и вставит украинское слово или выражение (напр.: – Спасибо. – Нэма за що) – потому что оно колоритнее звучит или богаче по смыслу или просто «ближе лежит» в его языковом сознании. Точно так же украиноговорящие жители (в основном, обитатели пригорода или переселенцы из окрестных сёл) в большинстве своём переходят на русский язык в магазинах, кафе, общественном транспорте (отнюдь не считая это «унижением своего национального достоинства»). Правда, украинская фонетика (например, знаменитое «гэ», от которого долго не могла избавиться после переезда в Москву будущая кинозвезда Людмила Гурченко) и многочисленные украинизмы (напр., *чи* вместо *или*) делают эту речь непохожей ни на русскую, ни на украинскую, что, впрочем, ничуть не смущает носителей так называемого «суржика» – специфического диалекта жителей Восточной Украины.

Пограничность Харькова – во всём. *Высочайший интеллект* (в городе – десятки вузов, научно-исследовательских инс-

титутгов, наукоёмких производств) и *утончённая духовность* (и сегодня в городе много прекрасных поэтов, художников, музыкантов, актёров, да и просто интеллигентной публики) граничат с вопиющим *невежеством* большинства современных школьников (из 10-ти, в лучшем случае, один хотя бы заглянул в «Войну и мир» Толстого, а написать полстранички без ошибки – будь то по-русски, будь то по-украински – вряд ли сможет и один из 20-ти), *культурной невоспитанностью* (нецензурная лексика – постоянный фон харьковских улиц, не уменьшающийся даже в высших учебных заведениях), общей гнетущей *недоцивилизованностью* (как и 100 лет назад, Харьков утопает в грязи: найти урну даже в центре города без способностей Шерлока Холмса весьма затруднительно – не отсюда ли эта привычка и в своём, и в чужом городе бросать мусор где попало? – ведь так харьковчан и узнают, особенно за границей) и – главное – *всевластие «денежных мешков»* (горожане не в силах противостоять финансовым воротилам, и коррумпированным чиновникам вкупе со «слугами народа», «втыкающим» небоскрёбы в историческом центре города, разрушая атмосферу старины и подавляя скромные, но изысканные постройки XIX века).

Харьков – как губка – легко впитывает новые идеи, моды, увлечения, толпы приезжих. Но – *в нём мало что (и мало кто) удерживается надолго. Это город транзитных идей и транзитных пассажиров*. Никого он, по большому счёту, не держит (всемирно известные медик Владимир Воробьёв, филолог Александр Потебня, поэт Борис Чичибабин, всю жизнь прожившие в Харькове, – скорее исключение, чем правило), никто ему особо не нужен. Он небрежно прощается с гениальным юношей Ильёй Мечниковым, выпускником университета, будущим лауреатом Нобелевской премии, одним из «отцов» микробиологии; приговаривает к сожжению диссертацию Николая Костомарова и изгоняет её автора, будущего историка-академика, как до этого сжёг книги и изгнал за «вольномыслие» немецкого филолога Иоганна Шада, приехавшего в Харьков по рекомендации Гёте; держит впроголодь в годы гражданской войны великую художницу Зинаиду Серебря-

кову, вдову с четырьмя детьми, выпровоженную из усадьбы Нескучное теми самыми крестьянами, которых она увековечила на своих полотнах; едва не расстреливает Льва Ландау, будущего Нобелевского лауреата, мегазвезду мировой физики; и умерщвляет в 1941 г., отправляя по этапу Александра Введенского, прекрасного русского поэта, одного из «обэриутов», друга Д.Хармса и Н.Заболоцкого.

Как ни крути – *город-вокзал*. Это не о нём ли – М.Цветаева, тоже бывшая тут проездом:

И знала одно: вокзал.

Раскладываться не стоит.

Может быть, правильно было сказано: *«В Харькове хорошо встречаться, но жить – нельзя»?*

Никого он не любит – ни живых, ни мёртвых. Хатку-мазанку, где жил Григорий Сковорода, выдающийся философ XVIII в., разломали в 1970-х; прах классика украинской литературы Григория Квитки-Основьяненко «потеряли», перенесли на новое кладбище только надгробный камень. Уничтожив в советское время десятки православных церквей, лютеранскую кирху, две мечети, перестроив синагоги, Харьков продолжает и сегодня с удивительной беззаботностью относиться к уродованию дома, где жил Иван Бунин (мемориальной доски, посвящённой третьему Нобелевскому лауреату, связанному с Харьковом, на фасаде вы не увидите) или искажению исторического облика старейшего храма – Покровского собора (1689 г.) и Провиантского склада (1788 г.), превращённого в магазин «Домотехника», или к тому, что несмотря на все прошедшие юбилеи, никак не может появиться в городе улица имени непревзойдённого историка края Дмитрия Багалея, одного из авторов фундаментального двухтомника «История города Харькова за 250 лет его существования (1654-1905)».

Какая ж твоя душа, Харьков, – город с традициями, но родства не помнящий?



Харьков парадный. Привокзальная площадь.



Харьков не парадный.
Обыкновенный двор обыкновенного дома.



Харьков ушедший.

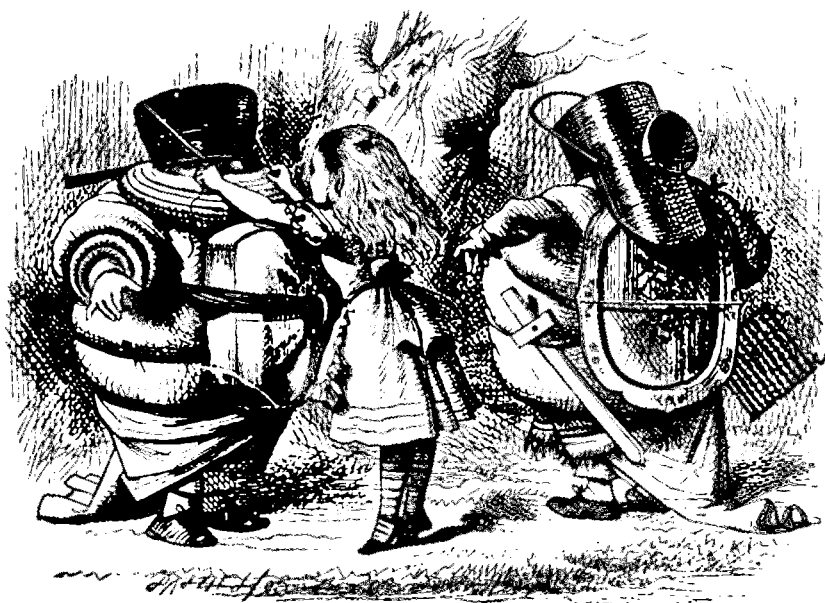
Николаевская церковь (разрушена большевиками в 1930 году)



Харьков уходящий.

Дом композитора и выдающегося музыкального деятеля, организатора и первого ректора Харьковской консерватории Ильи Ильича Слатина (ул. Пушкинская, 55-А). Дом, где бывали П. Чайковский, С. Рахманинов, С. Танеев, А. Рубинштейн и другие выдающие музыканты, 2-й год стоит с выбитыми окнами и без мемориальной доски, некоторое время украшавшей фасад.

Они сошлись



Михаил ЯСНОВ

Санкт-Петербург

Михаил Яснов живет в Санкт-Петербурге и на сегодняшний день считается одним из лучших поэтов (и детских тоже) и переводчиков. Как переводчик он награжден премией французского правительства за переводы французской поэзии, а как детский поэт – Почетным международным дипломом имени Андерсена, премией Маршака и премией Федерального Агентства по печати – «Лучшая книга 2007 года».

Я иду в школу

Синий цвет
И красный цвет –
Это я и мой букет!

Он огромный,
Он тяжёлый –
Я иду со всею школой,
На линейку выхожу.
Сверху – тучи,
Сзади – мамы,
Мой букет как зонтик прямо,
Удержать бы...
Удержу!

Кто-то принялся ворчать,
Головою стал качать:
– Ведь нельзя же, в самом деле,
Так ребёнка загружать!..
Ну а я держу букет,
И его красивей нет!

Скоро день прояснится,
Тучи убегут.
Нас десятиклассницы
За руки берут.

Мы проходим ровным кругом
Друг за другом,
Друг за другом.
Я за тётей-ученицей
Не спеша иду вослед
И боюсь пошевелиться,
Чтоб не выронить букет.
Ведь теперь не хныкнешь маме,
Что споткнулся,
Что устал, –
Мой букет
Двумя руками
Удержать бы...
Удержал!

За окошком всё светлей,
Солнце в кронах тополей,
Я сижу за первой партой –
Приноравливаюсь к ней.

На окошке –
Мой букет.
И меня счастливей –
Нет!

Спасибо!

Как жалко, что недели
Так медленно летят!
И что, родившись, дети
Не сразу говорят!

А то бы только-только
Я маму увидал,
Как тут же бы, как сразу
«Спасибо!» ей сказал.

За то, что я родился!
За то, что я живой!
За то, что вместе с папой
Идём сейчас домой!

За то, что дверь откроем
И знаем наперёд,
Что мама поёт
И нас к обеду ждёт!

Я помогаю на кухне

– Ну-ка, мясо, в мясорубку!
Ну-ка, мясо, в мясорубку!
Ну-ка, мясо, в мясорубку
Шагом... марш!

– Стой! Кто идёт?
– Фарш!

Умная Катя

Коля стучит по кастрюле –
У него музыкальный слух.
А Вовочка – математик:
Он умеет считать до двух.

Петя любит животных –
То мычит он, то лает.
А Катя такая умная –
Столько глупостей знает!

Дразнилка

– Ты нечестный...
– Сам ты вруша!
– Ты чумазый...
– Сам ты хрюша!
– Ты лохматый...
– Сам ты веник!
– Ты ленивый...
– Сам вареник!

Вот как я семью нарисовал

Вот как я семью нарисовал:
Мама – круг,
А бабушка – овал,
Папа – треугольник,
Младший братик –
Этот замечательный квадра-
тик.
Как же я себя изображу?
По бумаге пёрышком вожу,
То туда вожу им,
То обратно я –
Получилось что-то непонят-
ное:
Уголки,
Неровные края...
Мама, неужели это я?

Никто не решится!

Мы люди,
Но это же можно исправить!
Я каркать примусь,
И кричать,
И картавить,
А ты зарычи и залай
Невпопад –
Пушай от испуга
Кругом завопят!
Я стану руками,
Как крыльями, хлопать,
А ты принимайся
Вертеться и топать.
Мы всех испугаем,
Кого ни возьми, –
Никто
Не решится
Назвать нас людьми!

Утренняя песенка

Проснувшись, крикнул маме я:
– Прощай, моя Пижамия!
Да здоровствует Туфляндия!..
А мама мне в ответ:
– По курсу – Свитерляндия!
Шляпляндии – привет!
– Ура Большой Пальтонии!
Шарфанции – виват!..
А если вы не поняли,
То я не виноват!

Маленькая прачка

– Серый филин,
пыльный филин!
– Гу-гу-гу?
– Хочешь, чистым станешь,
филин?
– Гу-гу-гу!
– Будешь, филин,
ты намылен!
– Гу-гу-гу?
– Ты доволен будешь, филин!
– Гу-гу-гу?
– Я полью тебя водою,
С порошком тебя помою,
Накрахмалю, выжму крепко
И повешу на прищепку.
Будешь, филин, ты не пылен,
Слышишь, филин?
Где ты, филин?..

Ни в лесу, ни на лугу –
Ни гу-гу!

Кем была ты, бабушка?

Стала наша бабочка
Старенькою бабушкой.
Вспоминает бабочка
Давние дела.
– Кем была ты, бабушка?
Отвечает бабочка:
– Утром, в раннем детстве, я
Куколкой была!

Это что ползет такое?

Это что ползет такое,
Незнакомое?
Здравствуй, племя молодое,
Насекомое!

– Я не племя! –
Отвечала эта крошка. –
Я – одна!
Меня зовут Сороконожка!

Чудетство

В Чудетство откроешь
окошки –
Счастливень стучит
по дорожке,
Цветёт Веселютик у речки,
И звонко поют Соловечки,
А где-то по дальним дорогам
Бредут Носомот с Бегерогом...
Мы с ними в Чудетство
скорее войдем –
Спешит Торопинка
под каждым окном,
Зовёт нас глядеть-заглядеться:
Что там за окошком?
Чу!.. Детство!

Оркестр народных инструментов

Как много радостных моментов
Нам дарит наш концертный зал:

Оркестр народных
инструментов
У нас на кухне заиграл!

Умеет маленький Иван
Крутить водопроводный кран:
Он пальцем дырочку зажмёт –
Кран загудит
И запоёт!

Как весело соседу Вовке
На бельевой играть верёвке!
И под прищепкой,
Как струна,
На весь этаж звенит она.

Чтоб слушатели не уснули
Гремит Сережа на кастрюле...
А Катя рядышком встаёт
И громкой ложкой ложку бьёт!

Спозаранку

Точит токарь спозаранку
Превосходную болванку.
Под резцом сверкает сталь –
Получается деталь.

Мойщик окон спозаранку
Залезает на стремянку.
Вымыл пыльное стекло –
Стало в комнате светло.

А водитель спозаранку
Крутит круглую баранку.
Ходит грозный постовой
По морозной мостовой.

Физкультурник спозаранку
Перепрыгивает планку
И, упав на мягкий мат,
Воскликает: «Как я рад!...»

А радисты спозаранку
Шлют в эфир свою морзянку.
От причалов ледакол
В океан суда повёл.

Дрессировщик спозаранку
Дрессирует обезьянку.
Пёс и кот ушли гулять,
А сова ложится спать.

Самосвалы спозаранку
Снег увозят на Фонтанку.
А по улицам народ
В обе стороны идёт.

Иностранец спозаранку
Долго будит иностранку.
Говорит: «Взгляни в окно –
Все работают давно!...»

И, плотней надев ушанку,
Он на улицу спешит.
Хорошо, что спозаранку
Там уже никто не спит.

Холодок пройдёт по коже,
В небе снег начнёт кружить...
До чего же,
До чего же
Спозаранку славно жить!

Я утром вышел из дверей...

Я утром вышел из дверей –
Кругом была весна,
И стая мыльных пузырей
Летела из окна.

Она летела так и сяк,
И вбок, и вдаль, и вширь,
А впереди летел вожак –
Большой такой пузырь.

Сперва вперёд, потом назад,
И вниз, и вверх опять, –
Но пузырей и пузырят
Никак не мог собрать.

Один, весёлый как во сне,
На проводах повис,
Другой, поднявшись по стене,
Уселся на карниз.

А третий, солнцем ослеплён,
Свистел: «Фа-ми-ре-до...»
И полетел на старый клён, –
Наверно, вить гнездо.

Самое доброе слово

В джунглях тигрёнку не спится.
Говорит ему мама-тигрица:
– Спи, мой тёплый котёнок!

А в доме котёнку не спится,
Но кошка не будет сердиться –

Носом в котёнка потычет
И промурлычет:
– Спи, мой храбрый тигрёнок!
Все мамы на свете
Такие, как эти.
И если ночью

не спят их дети,

Они укачают их снова,
Полижут,
Погладят
И быстро найдут
Самое доброе слово!

Про мамонтов

Мамонт и папонт
Гуляли вдоль речки.
Бабонт и дедонт
Лежали на печке.
А внучонт
Сидел на крылечке
И свёртывал хобот
В колечки.
Пыхтел
И вытягивал губки,
И очень хотел,
Чтобы эти колечки
Летели вдоль поля,
Летели вдоль речки,
Как те
Голубые колечки –
Из папиной трубки!

Кто я?

По лужайке с травкою
Я хожу и чавкаю.

У забора с дыркой
Я стою и фыркаю.

У реки с осокою
Я лежу и чмокаю.

Хвостик закорюкою –
Радуюсь
И хрюкаю!

Хорошо бы научиться...

Хорошо бы научиться
На высокий стул садиться
И съедать обед.
Хорошо бы научиться
Открывать буфет.

Хорошо бы научиться
Очень поздно спать ложиться,
А потом – не спать.
Хорошо бы научиться
Радио включать.

Хорошо бы научиться
По утрам, как папа, бриться
И носить усы.
Хорошо бы научиться
Тикать, как часы!

Вышла чашка погулять

Раз-два-три-четыре-пять –
Вышла чашка погулять.
Мимо чайник пролетает –
Чашку чаем наполняет:

– Буль-буль!..

Ой-ой-ой!

Нужен сахар кусковой!

Раз-два-три-четыре-пять –

Вышел сахар погулять.

Мимо ложка пролетает –

Сахар в чашке растворяет:

– Дзынь-дзынь!..

Ой-ой-ой!

Нужен пряник расписной!

Раз-два-три-четыре-пять –

Вышел пряник погулять.

Рядом зубки поджидают –

В прятки с пряником играют:

– Хруст-хруст!..

Ай-ай-ай!

По столу растекся чай!

Раз-два-три-четыре-пять –

Вышла тряпка погулять.

Тряпка в чае извозилась,

Тряпка фыркала и злилась:

– Раз-два-три-четыре-пять –

Не хочу с тобой играть!

Просто чудо

Брат родился!

Братик мой!

Привезли его домой.

Как я маму обнимала –

Просто чудо, а не мама!

Братик соску обронил –

Папа брата не бранил,

Улыбнулся:

– Вот растяпа!..

Просто чудо, а не папа!

Братик чмокает во сне.

Дайте маленького мне!

Он уткнулся

В мой халатик –

Просто чудо, а не братик!

Вот какая

Дорогая

У меня теперь семья:

Просто чудо, а не мама!

Просто чудо, а не папа!

Просто чудо, а не братик!

Просто чудо, а не я!



Валерий ВОСКОБОЙНИКОВ

Бохум

ТЫ НУЖЕН ВСЕМ

(Окончание. Начало повести в 8 выпуске)

Глава пятая

Некоторые с кем только ни сидят, пока учатся в школе. А Володя сидел всего с тремя людьми.

Сначала с тихой девочкой Ниной Кошеверовой. Нина приносила в школу кукол и на уроке незаметно играла с ними. Иногда она и Володе давала кого-нибудь поиграть. Потом отец Нины, военный летчик, переехал в другой город и забрал ее с собой.

Тогда к Володе посадили Шурку Абуалиева. А последние месяцы он сидит вместе с Таней Осокиной – той самой, на которую ему было так приятно смотреть в первом классе.

С Шуркой Абуалиевым случались вот какие истории.

Сначала его хотели отправить в школу для умственно отсталых. Потом Володя узнал, что Шурка живет на той же лестнице, что и Зина. Только у Зины квартира была отдельная, а у него – коммунальная.

Ко времени, когда Володя узнал об этом, Зина с Анатолием давно не встречались, хотя и не ссорились. Просто у нее был свой институт, у него – свой. Анатолий больше не мучился из-за любви, Зина – тоже.

Потом Шурка из обыкновенного идиота превратился в необыкновенного математического гения. И за отдельной партой стал учиться по отдельной программе.

Про Шурку уже с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. А если его в это время ругают, он молчит, и улыбка его кажется наглой.

Сначала этого никто не замечал, потому что у них была постоянная учительница, и при ней Шурка не заикался. Говорил так же нормально, как на переменах. Может быть, потому что учительница на них не кричала, а наоборот, хвалила за любой пустяк. И все очень старались делать эти хорошие пустяки.

Потом постоянная учительница заболела. Несколько уроков ее заменяла Синусоида. В первом классе кроме Шурки никто и слова такого не слышал – Синусоида. Так прозвали ее старшеклассники. Она была немолодая и с пронзительным голосом. Если она появлялась на этаже – об этом узнавали сразу, потому что она обязательно начинала истерично кричать.

Едва войдя в класс вместо заболевшей учительницы, Синусоида и на них стала кричать оттого, что кто-то громко чихнул! И класс сидел притихший, испуганный, потому что их постоянная учительница так никогда не ругалась.

Сразу после этого Синусоида вызвала Шурку. И тот неожиданно стал заикаться. Хотя прежде на уроках читал хорошо и громко. Все подумали, что он притворяется, и начали перемигиваться, пересмеиваться. Синусоида снова прикрикнула на класс, а потом и на него. И тогда он вовсе замолчал, лишь улыбался нахально.

К счастью для Шурки, Синусоида побыла у них несколько уроков, а потом вернулась их учительница, и Шурка снова стал отвечать нормально.

* * *

Что у Шурки было в порядке – так это счет. Он любые примеры решал в уме. Другие пишут, подсчитывают, шепчут, а у него сразу готов ответ. Но записывать решение Шурка не любил, потому что почерк у него был чудовищный. Однажды Шурка сказал Володе, что считать научился в три года, когда их сосед из коммунальной квартиры был в первом классе. Шурке так понравилось считать, что сосед на него все задачи стал сваливать. Шурка задолго до школы не просто умножал и делил, а решал квадратные уравнения – и все в уме, потому что читать умел едва-едва, а писать и вовсе не получалось. Потом, в первом классе, конечно, и писать научился, но это были жуткие каракули. Постоянная учительница даже и за каракули его хвалила, а на

математике разрешила писать только ответы. И Шурка писал их много – вместо одной задачи, которую задавала учительница в классе, он придумывал штук десять и сразу их решал.

Когда у них появились разные учителя, никто из них сначала не догадывался о Шуркиных способностях и недостатках.

* * *

Когда тихая девочка Нина Кошеверова уехала вместе с отцом-летчиком, Шурку в посадили к Володе. Прямо первого сентября.

Учительница математики оказалась той самой Синусоидой с пронзительным голосом.

– Почему не пишешь условия задачи? – закричала она уже на первом уроке. – К тебе мои слова не относятся?

А зачем ему было писать, если он эту задачу и так мгновенно решил и ответ обозначил в тетради. Это Володя попробовал объяснить, но Синусоида и на него закричала. А Шурку заставила взять ручку и писать под ее унылую диктовку.

На другой день она вызвала Шурку к доске и опять: не успела выговорить условие задачи, как он сразу написал ответ.

– Двенадцать.

– Чего двенадцать? – с недоумением спросила она.

– Часов, – это он проговорил уже слегка заикаясь.

– Ты что же – издеваться надо мной вышел? Я тебя разве просила подсказывать классу ответ? Если сам успел подсмотреть в задачнике, так уж води себя прилично!

От этого крика Шурка и заикаться перестал. Стоял у доски и улыбался нахально. Эта улыбка особенно ее рассердила.

– Прекрати улыбаться! – закричала Синусоида и даже руками затрясла перед его лицом, а он дергал губами, так что получались какие-то дикие гримасы, а потом улыбка появлялась вновь.

Синусоида отправила его на место с двойкой.

Раньше Шурка Абуалиев двоек не получал. Ни одной. И был к ним не приучен. Поэтому когда до него дошло, что ему поставили двойку, да еще по математике, он отчаянно заплакал. И опять разозлил учительницу, потому что отвлекал своим плачем класс от работы.

– Немедленно встань! – скомандовала она. – Теперь сядь! Теперь снова встань! Снова сядь!

Шурка садился и вставал. Учительница надеялась, что отвлечет от плача. Но Шурка зарыдал еще громче, и тогда она выгнала его в туалет, чтобы он там умылся холодной водой и со слезами не возвращался. В туалете Шурка и пробыл до конца урока.

Через несколько уроков она уже ненавидела его. А Шурка вовсе перестал разговаривать, только дико ворочал глазами и улыбался.

– Опять улыбаешься, наглец! – кричала она. – Встань, когда разговариваешь с учителем.

И отправляла его в угол или заставляла стоять на своем месте почти весь урок.

Вот тогда Володя и подумал, что, быть может, Шурка, и правда, слегка идиот.

– Ты что – не можешь удержать свою улыбку?! – внушал он Шурке на перемене. – Или не видишь, ее это злит больше всего, так и не улыбайся!

Только что нормально говорящий Шурка уже при одном слове об учительнице начинал заикаться.

– Я н-не улыбаюсь, эт-то с-само, – оправдывался он.

Но Володе верилось в такое с трудом. Ладно, замолкает, когда на него кричат – Володя и сам иногда замолкал. Но уж с улыбочкой, да еще нахальной, мог бы справиться, если бы захотел.

Они писали городскую контрольную, и Шурка решил раньше всех. Такие-то примеры он подсчитывал в уме в детском саду. Но Синусоида трясла листком перед его лицом и требовала, чтобы он сознался, откуда списал. Тем более что почти никто в классе эти примеры решить не смог – они были трудными. А Шурка, простоявший в углу на ее уроках, сразу сдал контрольную с ответами.

– Откуда списал? – кричала в который раз Синусоида. – Я весь вечер на вас потратила, решая эти примеры!

Но Шурка, уже привычно для всех, молчал и продолжал улыбаться. Тогда она впервые и сказала те страшные слова, на которые сначала никто не обратил внимания. Даже сам Шурка.

– Таким наглецам, как ты, нет места в нормальной школе!

* * *

А через месяц она и в самом деле решила сплавить его в школу для умственно отсталых. Если бы еще она не была их классным руководителем! Получалось, что и на классных часах она на него кричала. А он и на уроках у других учителей перестал отвечать – так же крутил глазами и стоял молча. Учителя один за другим стали ставить ему двойки и писать в дневнике: «На уроках ничего не делает, у доски молчит».

Только учитель природоведения придумал для него свою систему. Отвечал вместо Шурки сам и нарочно путался. Тогда Шурка отрицательно качал головой. Если же учитель говорил правильно, Шурка согласно кивал. Учитель даже пятерку поставил Шурке за тот ответ. Но что значила одна пятерка среди стройного ряда двоек – случайная удача, она только подчеркивала невозможность для Шурки учиться в нормальной школе.

* * *

К Шурке Абуалиеву Володя первый раз попал просто так. Шли вместе из школы, Шурка и предложил:

– Зайдем ко мне? – И показал дом.

– У меня в этом доме знакомая живет, она школу нашу кончила, – сообщил Володя.

– Знаю, ее Зина зовут, я с ней на одной лестнице живу.

И Володя поднялся следом за Шуркой по лестнице.

* * *

Но сначала утром, на первой перемене, Володя отдал Шурке свой платок. В конце коридора их класс устроил рыцарскую атаку на соседний. Скакали друг на друге верхом и сбрасывали врагов. Володя был хорошим конем, на него вскочил Шурка – он был хорошим кавалеристом, вдвоем они нескольких врагов сбросили. А потом кто-то лбом попал Шурке по носу, и у того закапала на пол кровь.

Платка у Шурки не оказалось, и Володя отдал ему свой.

Шурка постоял несколько минут в туалете с мокрым краснеющим платком на носу, и к уроку кровь перестала течь.

– Я дома выстираю и завтра принесу, – сказал он на уроке Володе.

– Да ладно, что у меня платков мало.

– Я обязательно выстираю, – повторил Шурка.

А по дороге из школы он вдруг спросил:

– Скажи, пожалуйста, ты со мной смог бы дружить?

Именно так вежливо и спросил.

У них в четвертом классе все мальчишки говорили друг с другом грубыми голосами. И когда однажды к Володе подошел на улице незнакомый школьник и произнес: «Мальчик, скажи, пожалуйста, сколько времени?» – Володя очень удивился. Обычно говорили примерно так: «Ты! Сколько времени, а?»

А тут: «Скажи, пожалуйста, ты со мной смог бы дружить?»

Так Володе дружбу никто не предлагал.

– Могу, а что?

– Зайдем ко мне, – предложил тогда Шурка и кивнул на дом, в котором жила Зина.

* * *

Володя редко бывал в коммунальных квартирах и всякий раз смущался, когда входил. Ему казалось, что незнакомые жильцы смотрят на него с одним и тем же вопросом: «Это еще кто такой заявился?»

Шуркина квартира начиналась с кухни. Поперек через кухню висели на веревке пеленки, а на газовой плите стояло зеленое эмалированное ведро, в котором что-то громко чавкало. На столе, рядом с другой плитой, толстая старуха, причмокивая губами, резала морковь. Стояли еще четыре кухонных стола, и над каждым – полки с кастрюлями. Но Володя их не разглядывал. Он только тихо сказал старухе «здравствуйте», старуха не ответила, и он прошел вслед за Шуркой по длинному темному коридору, увешанному разными пальто, куртками. За одной дверью тихо, но монотонно плакал ребенок, за другой – звякали посудой.

Шуркина комната была в конце, рядом с дверью, где журчала вода.

«А у Зины квартира отдельная», – хотел сказать Володя, пока шел по коридору, но промолчал.

– У меня отец спит, но ты не бойся, он не проснется, – предупредил Шурка, пропуская Володю в комнату.

* * *

Шуркин отец в линялой майке и застиранных тренировочных штанах спал на сложенном диване поверх покрывала.

– Он в театре работает, рабочим сцены, – негромко и уважительно проговорил Шурка. – Творческая работа. Они раньше часа ночи не заканчивают. И еще он подрабатывает рядом в булочной – ночная приемка хлеба. Потому и спит днем.

В комнате стоял громадный старинный шкаф с деревянными узорами, круглый стол посередине и детская деревянная кровать.

– Это Наташкина, – сказал про кровать Шурка. – Моя сестра. Она в детском саду в младшей группе, и мама там работает нянечкой. Удобно, правда? Ты садись на стул, чего ты стоишь, и куртку, давай, снимай.

Шуркин отец заворочался, и Володя испугался, что они его разбудили. Но отец только повернулся к стене.

Шурка повесил свою и Володину куртки в коридоре за дверь, потом показал на раскладушку, прислоненную к шкафу.

– Это моя койка. Раскладываю и под стол. Под столом интересно спать, как будто крыша, и место экономится.

Володя сидел на стуле, не очень понимая, зачем его Шурка позвал, и что ему надо делать.

– Полезли на шкаф! – предложил вдруг Шурка. – Я тебе свои сокровища покажу.

– А залезем?

– Да я там все вечера живу. Конечно, залезем. Смотри!

И Шурка поставил на стул табуретку, а потом ловко забрался наверх под потолок. Там он сел, свесив ноги, что-то раздвинул около себя и позвал:

– Залезай с другой стороны. Только проверь табуретку, чтоб крепко стояла.

Через минуту и Володя очутился на шкафу рядом с Шуркой.

– Ты голову пригибай, а то затылок мелом покрасишь, – посоветовал Шурка и стал показывать свои сокровища.

* * *

Для начала он достал две шоколадные конфеты в голубой и розовой фольге, одной – угостил Володю, другую съел сам.

– Мне вчера дала соседка. Я холодильник ей помог переставить. Спрятал их для праздничного часа, а сегодня и пригодились.

Картонная обувная коробка была забита баночками из-под детского питания. В них было что-то разноцветное.

– Это – коллекция песков Петербурга и области, – показал горделиво Шурка. – Смотри, из-под одного Саблино сколько: красный, синий, зеленый. Там на реке Тосно отложения. Белый – тоже оттуда. Желтый – из-под Зеленогорска, в лагере набрал. Другой, светлее, – тоже с Карельского. А этот – в Мартышкино. У нас, если захочешь, можно разные пески разыскать. Красивые, правда?

На кухонной доске в другой коробке стояла целая деревня, сделанная из спичек.

– Это я в первом классе клеил, почти весь год.

Там были два бревенчатых дома, как настоящие – с окнами, крыльцом, дверями; между домами – ветряная мельница, тоже как настоящая. С другой стороны – колодец и сбоку – церковь. Вместо травы Шурка приклеил зеленый песок, а дорожки были засыпаны красным.

Деревню Шурка дал поддержать, чтобы лучше рассматривать.

– Только осторожно, а то крыши полетят, надо снова подклеить.

Рядом с картонными коробками стопкой лежали книги. Многие были в одинаковых переплетах.

– На помойке нашел. Математические книги, – объяснил Шурка. – Жаль, редко выбрасывают. Я их переплетаю сам. Набор «Юный переплетчик» купил и переплетаю.

Володя взял одну из книг. В ней были непонятные чертежи. «Стереометрия» – прочитал он название. Другая называлась

«Начертательная геометрия». Третья – «Теория множеств». Математических книг было на шкафу штук двадцать.

– Я их все время читаю. А вот это, – и Шурка показал несколько общих тетрадей в затрепанных переплетах, – главное мое сокровище. Я сюда математические мысли записываю.

Тетради были изрисованы непонятными каракулями.

– Ты здесь не поймешь. В них никто, кроме меня, не разберется.

– Так это ты в прошлом году Зине по математике помогал? – сообразил Володя. – Честно? Ты?

– Ну я, – смутился Шурка. – Там и помогать было нечего. Она слегка запуталась, я и объяснил... по стереометрии. Она со сломанной ногой сидела, а у нее – аттестат зрелости, – оправдывался Шурка.

Но Володе в такое было трудно поверить. Одно дело, с ней занимался студент Анатолий, а другое – третъеклассник.

– Да я ей всего чуть-чуть объяснил, несколько чертежей, она и так способная, – снова стал оправдываться Шурка. – А у тебя дома есть свое место?

«Своего места» у Володи дома было много, но признаваться ему в этом не хотелось. И он только кивнул.

Они спускались так: сначала Володя. Потом он переставил стул с табуреткой к Шурке, и спустился тот.

– Подожди, я тебе сейчас платок верну, – и Шурка открыл дверцу могучего шкафа.

– Да ладно, зачем!

– Надо, а то с твоего кровь может не отстираться. – Он стал рыться в шкафу, и как Володя ни отказывался, вытащил-таки новый носовой платок в прозрачном запечатанном пакетишке. – На день рождения подарили, а я – тебе. Давай, на дружбу обменяемся.

Тут уж Володе пришлось согласиться.

Когда Шурка провожал его через кухню на лестницу, в зеленом ведре по-прежнему что-то кипело, чмокало.

Глава шестая

В их дружбе с Шуркой ничего такого особенного не происходило. Ходили вместе из школы, разговаривали о том, о сем – и только.

– Ты в переселение душ веришь? – спрашивал, например, Шурка.

– В какое переселение? – переспрашивал Володя, потому что о такой вещи он слышал впервые.

– Некоторые народы верят, что душа человека вместе с телом не умирает, а вселяется потом в кого-нибудь нового. Может в дерево, или в животное, или опять в человека.

– Не знаю, – сказал с сомнением Володя. – А ты думаешь, она существует – душа?

– Конечно, существует! – подтвердил Шурка. – Только ты никому не скажешь? – спросил он вдруг, почти шепотом.

– Никому, – Володя тоже ответил шепотом.

– У меня, знаешь, чья душа? Живет во мне, знаешь, чья?

– Не знаю...

– Максвелла. Я это чувствую. Точно. Душа Максвелла!

– Он кто – американец?

И Шурка объяснил. Оказывается, это был гениальный математик. И физик. Жил в Англии в девятнадцатом веке. И про него сначала в школе думали, что он – идиот. А потом он сделал открытие. И об этом открытии докладывал на собрании Королевской Академии наук взрослый академик, потому что сам Максвелл был школьником, и его туда не допустили.

– Надо об этом Синусоиде рассказать! – обрадовался Володя.

– С-синусоиде н-нельзя! – уже при одном ее имени Шурка начинал заикаться.

И вдруг после осенних каникул Синусоида заявила, что переводит его в школу для умственно отсталых.

К ним в школу сразу после выходных пришел психиатр. Проверять двоечников – какое у них развитие. И Синусоида решила отвести Шурку к нему в кабинет. У Шурки почти по

всем предметам стояли двойки, и теперь уже никто не помнил, что прежде он был отличником.

Шурка в кабинет к психиатру не пошел. Он сидел молча, вцепившись в стол руками. Володя тоже сидел рядом, ухватившись за стол. Он уже несколько раз пробовал защищать Шурку, но всякий раз Синусоида на него кричала, обрывала.

Шурка, вцепившись в стол, смотрел вниз, под ноги, она же еще раз повторила, чтобы он немедленно встал и пошел с нею в кабинет к психиатру. Он снова не подчинился.

– Вавилов и Чернушенко, быстро выведите его в коридор! – приказала она двум классным силачам.

И те поволокли брыкающегося Шурку из класса. Шурка не удержался, заплакал, зацепился было за дверь. Володя смотрел на все это со стыдом и страхом, но только что он мог сделать, беспомощный четвероклассник!

Такого – плачущего, сопротивляющегося – и втокнули Шурку в кабинет к психиатру, а следом за ним вошла и Синусоида с классным журналом.

О чем они там говорили, и сказал ли Шурка в кабинете хоть слово – никто не знал. А Володя об этом не спрашивал. Только врач-психиатр выдал Синусоиде справку о том, что Шурка нуждается в переводе в специальную школу.

Синусоида написала записку Шуркиным родителям и велела Володе отнести ее.

До дома Володя шел один – Шурки нигде не было. Он ждал на лестнице.

– Д-дай з-записку, – пробормотал он и уставился на Володю таким же бессмысленным упрямым взглядом, каким смотрел в последнее время на многих учителей.

Володе и самому не очень-то хотелось нести записку. Получалось, что он как бы в роли Павлика Морозова выступает.

– Д-дай записку, – повторил Шурка.

И тогда Володя решился.

Тут же на лестнице они порвали записку на мелкие клочки и отнесли их на помойку.

На что они надеялись – непонятно. Неужели на то, что Синусоида про записку забудет.

– Передал записку? – строго спросила на другой день Синусоида в коридоре.

– Передал, – проговорил он растерянно.

– Они написали ответ? Где ответ? Почему ты мне его не даешь? Они сказали, когда придут за документами?

– Сказали, – ответил Володя с еще большей растерянностью.

– Что они сказали?

– Сказали, что им некогда...

– Пусть найдут время и сообразоволят зайти. Передай им, что с завтрашнего дня их сын... в общем, я его исключаю из списков.

– Абуалиев, завтра без родителей можешь в школу не приходить, – объявила Синусоида на последнем уроке.

Шурка на нее не смотрел, смотрел мимо.

– Ты понял меня?

Шурка продолжал молчать, глядя в сторону.

– Петровский, напиши ему в дневник то, что я сейчас сказала. С меня хватит, намучалась.

Володя под ее взглядом написал: «В школу завтра без родителей не приходить».

Но Шурка смотрел сквозь пространство потерянными глазами, как будто ослеп.

Он пришел на другой день в школу как ни в чем не бывало и спокойно отсидел первый урок. А на второй в класс вошла Синусоида.

И Шурка вновь сидел, вцепившись в стол, глядя в сторону, она же повторяла, словно кибернетическое устройство:

– Еще раз говорю, выйди из класса.

И вновь по ее команде Вавилон с Чернушенко выволакивали его, а он, с мертвым лицом, кусая губы, цеплялся за край стола. И Володя, окаменев от ужаса, сидел рядом, не в силах помочь.

Остальные уроки он постоянно ощущал справа пустое место, словно вместе с Шуркой ушло из-за стола и пространство, в котором тот на уроках жил. У Володи даже правый бок то ли заболел, то ли замерз от чувства пустоты в том месте, где сидел Шурка.

По дороге домой Володе на мгновение показалось, что за углом мелькнула сутулая Шуркина фигура. Может быть, он дожидался Володю, но в последний момент испугался встречи и убежал.

* * *

Назавтра место рядом с Володей оставалось пустым. Перед первым звонком Синусоида специально заглянула в их класс и, удовлетворенно кивнув, вышла. Ее уроков в этот день у них не было.

А в перемену Шурка прокрался в кабинет на новый урок. Он, оказывается, первый час прятался на лестнице у железной двери. Они, уже довольные, сидели рядом, но тут Синусоида во второй раз заглянула к ним.

Шурка и в самом деле становился идиотом в ее присутствии.

Он снова упрямо и тупо цеплялся за стол, потом за дверь, когда его выталкивали из класса. И только в последнее мгновение, уже почти из-за дверей, когда Вавилон срывал его руку с дверей, Шурка отчаянным взглядом посмотрел на Володю. На одно лишь мгновение взглянул. И Володя не выдержал. Сам неожиданно для себя, он, оставив сумку в столе, выбежал за Шуркой.

Он догнал Шурку уже на лестнице. На них с удивлением оглядывались те, что поднимались навстречу.

– Пойдем, я знаю, куда мы пойдем! – утешал Володя Шурку. Неожиданная мысль озарила его.

Они придут вместе с Шуркой к Зине. Зина поймет – она сама в прошлом году была школьницей. И это ей Шурка помог по какой-то там немыслимой стереометрии. Она пойдет вместе с ними в школу и докажет, что он – не умственно отсталый.

Они надели куртки и вышли из школы. Шурка – с сумкой, а Володя – без всего, с пустыми руками. Он впервые в жизни пропускал уроки, но даже не боялся сейчас – пусть вызывают маму, зато он будет мучаться вместе с Шуркой. Он и в школу для умственно отсталых, если не удастся доказать правду, пой-

дет с Шуркой вместе! После этого решения ему стало легко, свободно.

* * *

Он забыл, что было еще начало дня, и Зина уехала в свой институт.

– Ничего, погуляем по городу, а потом к ней, – обнадеживал Шурку Володя. – В Эрмитаж ходим.

Но и Эрмитаж оказался закрытым – выходной день.

Печальное получилось гулянье, бродили они по улицам, сидели на холодных скамейках, испуганно оглядывались на милиционера – вдруг спросит, почему во время уроков они болтаются по городу. Время ползло медленно, и они измучились, пока дождались середины дня, чтобы идти по крайней мере к Шурке домой.

Шуркин отец, такой же, как и сын, тощий, сутулый, с длинным лицом, только лысый, в этот раз не спал, а сидел на диване и читал газету.

Отцу они ничего не сказали. Шурка залез на шкаф и достал зачем-то тетрадь, в которую он записывал дифференциальные уравнения. Он попытался втолковать смысл формул Володе, уверял, что стоит только вникнуть в начало, а дальше и ему понятно все станет. Но Володя так и не вникнул.

Втроем они поели суп и какую-то рыбу с картошкой. Обед, оказывается, в их семье варил отец. За столом отец рассказывал им истории из театральной жизни, наверно, веселые, потому что сам он здорово хохотал, рассказывая их. Володя и Шурка тоже делали вид, что им весело от этих историй, и старались улыбаться.

Наконец, около четырех они вошли к Зине.

* * *

Зина сначала не понимала, потом не верила, а потом испугалась.

– Ой, тут надо к Анатолию идти, – сказала она. – Меня они не послушают, только Анатолий поможет. Неужели ты сам не догадался? – спросила она Володю.

И, удивительное дело, уж к Анатолию-то Володя и сам бы пошел, но Зинаида решила идти обязательно вместе с ними.

Они положили в полиэтиленовый мешок с ручками Шуркины математические тетради и отправились втроем.

– Анатолий, конечно, поможет! – говорил по дороге Володя, и снова ему было легко, даже весело. – Анатолия и директор уважает и сама Синусоида.

Знала бы Зина, идя рядом с этими двумя перепуганными пятиклассниками, что с каждым шагом она приближается к перекрестку своей судьбы. Что еще немного и ступит она на новый путь мучений и радостей из-за человека, которого самой еще недавно так спокойно и приятно ей было помучить. Знала бы она об этом, быть может, и не отправилась бы вместе с ними, осталась бы дома. И жизнь у нее, возможно, была бы другая – не та, не ее. Хотя спустя полгода это невозможно было уже представить.

И все-таки как здорово, что другом у Володи был Анатолий. Он понял и поверил всему, едва ему стали рассказывать. Только перелистнул Шуркины математические тетради, исчерканные мало кому понятными каракулями.

– Пойдемте, – сказал он, решительно поднимаясь со своего дряхлого заплатавшего дивана, на который они уселись все. – Пойдемте сразу к директору. Опаздывать здесь нельзя. И ты, Зина, ты молодец, что пришла. – Он просто похвалил ее и все. Как старого товарища. И ничего больше. И не удивился ее приходу.

Неужели эти мгновения и стали перекрестком в ее жизни? Даже если это было так – она пока о том не догадывалась.

«Лишь бы застать директора! Лишь бы он был в школе!» – молился про себя Володя.

Он едва поспевал за широким шагом Анатолия. Так то он, который привык ходить с ним помногу. Зина и Шурка отставали все больше.

– Анатолий, нам не догнать! – наконец пожаловался Володя.
– Что? Я вас загнал! – Анатолий приостановился. – Боюсь, вдруг директора не застанем.

Директора они застали.

Директор – коротко подстриженный седой человек, похожий на пожилого уставшего боксера, был в своем кабинете, а рядом с его рабочим столом на стуле сидела сама Синусоида.

Она изумленно рассматривала их всех, вошедших вместе прямо в куртках, потому что раздевалка была закрыта.

– Федор Адамович, извините нас, но мы к вам по неотложному делу, – начал сразу Анатолий. Говорил он, как всегда, умно и по-взрослому, так что слушатели сразу начинали уважать каждое его слово.

– Сейчас, ребята, только отпущу Веру Семеновну.

– Вера Семеновна, если можно, тоже пускай останется. Останетесь, Вера Семеновна? – спросил Анатолий.

– Да-да, я, конечно. Конечно, я останусь, – заторопилась Вера Семеновна, она же Синусоида, с непривычной для Володи и Шурки виноватой интонацией.

– Этот мальчик, Саша Абуалиев из пятого класса, обладает исключительными, если не гениальными, математическими способностями. Он сам, дома, изучил математику в объеме средней школы и продолжает изучение дальше. Вот его тетради.

Анатолий положил две толстые тетрадки на директорский стол, а директор Федор Адамович начал рассеянно их листать. Потом одну из тетрадок брезгливо, недоверчиво подвинула к себе Синусоида, открыла, где попало, и замерла.

Анатолий хотел говорить дальше, но директор его прервал.

– Это хорошо, Анатолий, что ты нас навестил, и спасибо, что заботаешься о способном мальчике. Но ты сам понимаешь, у нас не заочная школа, у нас ученик должен присутствовать на уроке. Должен присутствовать, даже если он знает предмет на «отлично». А, кстати, давай-ка мы и проверим его способности. А то ведь сам знаешь, – директор улыбнулся, – мало ли что они дома могут понаписать. – Директор поднялся и с Шур-

киной тетрадью отошел к окну. – Эх, и я когда-то увлекался математикой! Садись-ка, Саша, дорогой, в мое кресло. Вот тебе чистый лист, пиши уравнения. – И директор, заглядывая в тетрадь, стал диктовать непонятные пока для Володи слова.

У Володи даже руки задрожали от волнения, будто это ему директор сейчас диктовал. Вдруг Шурка запутается и ничего не решит!

А Шурка, наоборот, успокоился. И едва директор кончил диктовать, сразу сказал ответ.

– Да? – удивился директор. – Это ты в уме решил или по памяти?

– Он все в уме решает, – сказал за него Володя.

– Ну, а написать свое решение можешь? Уж не ленись. Вера Семеновна, как? Саша правильный назвал ответ?

– Я не знаю, такие уравнения не решаются устно...

– Но вы его сможете решить сейчас, письменно?

– Естественно, могу.

Директор подвинул листок и ей.

Она стала решать. Нервно выписывала цифры, знаки, что-то зачеркнула, кивнула головой, написала заново. И, наконец, отодвинув листок в сторону, подтвердила:

– Да, ответ сходится.

Шурка заглянул в ее листок и вдруг проговорил уверенным голосом, какого никогда от него Володя не слышал в классе:

– Вообще-то, здесь надо короче. У вас лишние преобразования. – И, взяв Синусоидин лист, он вычеркнул в нем несколько строк, а рядом написал только одну. – Так проще.

Синусоида, раскрыв рот и вытаращив глаза, посмотрела на него так изумленно, будто перед ней возник какой-нибудь Тутанхамон или Эйнштейн. И Володя тоже удивился – ему показалось, что за несколько минут Шурка стал выше ростом.

– Ты прав, я здесь напутала, – наконец выговорила Синусоида.

– Но все-таки, мой дорогой, даже блестящие способности не дают тебе права пропускать занятия. В нашей школе порядок для всех единый. А после восьмого я сам тебя отведу в гимназию для особо одаренных, – вмешался директор.

Шурка оставил директорский стул, и тот снова сел на свое место.

– Все ребята, никакого освобождения от занятий я дать не могу.

– Нет, не все, Федор Адамович, – остановил его Анатолий. – Дело в том, что Сашу переводят в другую школу, для умственно отсталых. Я понимаю, это недоразумение...

– То есть как переводят? – растерянно переспросил директор. – Чушь какая-то! Я тебя правильно понял, Анатолий? Вера Семеновна, я правильно понял Анатолия? Как можно перевести мальчика без решения педсовета?!

Все посмотрели на Синусоиду, и Володя даже хотел объяснить, что это она, Синусоида, решила применить такую хитрость, чтобы Шурку родители сами забрали из школы. Но Синусоида вдруг вскочила и проговорила, заикаясь:

– Это, это – недоразумение.

Лицо ее искривилось, и она протянула к Шурке руки, так что Володе показалось, что она хочет ударить Шурку. И самому Шурке тоже показалось что-то такое, потому что он испуганно попятился.

– Вера Семеновна, вам плохо? – спросил директор. – Вам помочь?

И тут все увидели, что по лицу ее потекли слезы. Она попыталась их остановить, что-то объяснить, но лицо ее еще больше искривилось, стало ужасно некрасивым, и, громко зарыдав, Синусоида выбежала из директорского кабинета.

– Чушь какая-то! – повторил директор растерянно.

– Мы пойдем? – спросил Анатолий тихо.

– Подождите. Сейчас она успокоится и вернется. Надо же довести дело до конца. – Несколько минут директор перебирал на столе бумаги, а все остальные сидели молча.

Наконец дверь без стука приоткрылась и снова вошла Синусоида.

– Прости меня, Саша, – начала она прямо с порога. – И вы, Федор Адамович, простите, – повернулась она к директору. – Всю жизнь мечтала о таком ученике, а когда встретила – не узнала! Извини меня, Саша! – снова повторила она. – Это я, Федор Адамович, я одна виновата во всем!

– А ты, Абуалиев, мог бы и ко мне подойти, я разве зверь какой-нибудь, что уж так бояться! – укоризненно проговорил директор.

Шурка кивнул.

– Завтра я извинюсь перед всем классом. Хочешь, мы будем изучать высшую математику вместе? Я ведь всю педагогическую жизнь мечтала о таком ученике. Ты простил меня, Саша? – Было похоже, что Синусоида опять вот-вот разрыдается.

Но Шурка снова молча кивнул.

– Ладно. Будем считать инцидент исчерпанным, – сказал директор. И вдруг добавил: – А все перегрузка наша, давленность делами. Учителя тоже надо понять...

* * *

– Мальчишки, пошли ко мне! – предложила Зина Анатолию, Володе и Шурке, когда они вышли из школы. – Торт купим. В честь спасения человека.

– Мне к семинару надо готовиться, – неуверенно ответил Анатолий, а потом махнул рукой. – Ладно, успею.

Вчетвером они вошли в булочную. Зина и Анатолий потолкались около кассы – кому платить. А Володя чувствовал себя странно, потому что был он со школьной сумкой. Сумку вручила ему Синусоида. И удивительно: лицо у нее было теперь не злое, а просто усталое, голос совсем не противный, заботливый.

В Зининой комнате за низким журнальным столиком они попили чай с тортом и с земляничным вареньем. И Зина, не сводя глаз с Анатолия, вдруг сказала:

– Толя, ты стал такой красивый!

– Брось, Зинаида, свои штучки, – засмеялся Анатолий, – больше мне голову не закрутишь. Я самый обычный. Гомо сапиенс обыкновенный.

– Нет, – не согласилась Зинаида, – ты стал очень, очень красивым! И мужественным.

Глава седьмая

Со следующего дня Шурка начал заниматься по книгам, которые приносила ему Синусоида. Никто в классе так и не

понял, что же такое произошло и почему Шурка снова сидит на уроках, да к тому же становится постепенно школьной достопримечательностью. Ни сам Шурка, ни Володя объяснять никому не стали.

А Шурка оставался после уроков, шел к Синусоиде в кабинет, и они там обсуждали вместе математические теории. И когда однажды другая учительница спросила Синусоиду, пойдут ли та в субботу в театр, Синусоида гордо ответила:

– Конечно, нет. Мы с учеником идем в Дом ученых, на лекцию академика Александрова.

– С каким учеником, с тем самым? – спросила учительница.

– С ним, у меня пока только один такой ученик, – подтвердила Синусоида.

И Володя, который слышал этот разговор на школьной лестнице, понял, что Синусоида говорила, конечно, о Шурке.

* * *

Некоторые люди, их немного, мгновенно различают остальных по национальностям – кто и к какой нации принадлежит. Володя этого не умел. Негра от китайца он, конечно, отличить мог. А на большее не был способен, потому что об этом не задумывался. До пятого класса он и вовсе считал, что все вокруг него только русские. А какие еще могут быть, если говорят по-русски, по-русски думают и видят русские сны.

Первый раз он задумался о нациях скоро после того, как Шурка Абуалиев навсегда помирился с Синусоидой и мгновенно из умственно отсталого превратился в школьного математического гения.

Они шли с Шуркой все той же дорогой из школы домой, Шурка молчал, а потом вдруг таинственно спросил:

– Как ты думаешь, я – кто?

– Инопланетянин, что ли? – Володя даже приостановился от неожиданности. Честно говоря, он был к этому готов. Но, слегка подумав, добавил: – Нет, если у тебя родители есть, значит, человек.

– Вавилон говорит, что я – чучмек.

– Какой еще чучмек?

– Ну, этот, черный. Чечен, может быть, или еще кто...

– Это ты-то чеченец?! – Володя даже рассмеялся. – Сам он чеченец, вот что. Откуда он это взял.

– У меня уже усы начинают расти, видишь. И волосы – черные.

– Волосы у тебя, и, правда, черные... Зато фамилия – русская.

– Нет, фамилия у меня – тоже не русская.

– Ну и что? В России каких только фамилий нет! Я как раз вчера по радио слышал: есть даже человек с фамилией Ю. И ничего, живет. Картины пишет.

Володя об этом разговоре больше не вспоминал, но на следующий день по дороге из школы Шурка вдруг спросил:

– А ты бы стал дружить с человеком, если бы про него узнали, что он – не русский?

– Да откуда я знаю. Негра Васю из седьмого-а знаешь? С ним же все дружат!

– То с негром, – согласился Шурка, – а то – с черным.

– Да иди ты, знаешь куда! – разозлился Володя. – Нашел о чем говорить!

Володя и не думал, что Шурка заговорит снова.

– Никому не скажешь? – спросил вдруг тот уже не по дороге домой, а в первую перемену, уведя Володю наверх к металлической чердачной двери. – Я, правда, не русский.

Шурка проговорил это почти с отчаянием и, отвернувшись от Володи, приложился, как когда-то Анатолий, лбом к железной двери.

– Кто тебе такую чушь наболтал! Выброси ее из головы и не думай об этом, – заспорил Володя. – Русский ты, понял?

– Я у отца спросил...

– А он?

– Подтвердил.

– Откуда отец-то знает? Мало ли, что он сказал! Ты – русский. Русский и все, понял?!

Шурка посмотрел на Володю с сожалением.

– А кто же еще знает? Отец сказал, что мы с ним – копты.

– Кто-кто? – переспросил Володя. – Те, которые коптят что-нибудь, что ли? Так это профессия. А национальности такой нет.

– Есть, – упрямо не согласился Шурка. – Есть такая народность. Копты – это древние египтяне.

– Не может быть!

Во всю уже дребезжал звонок на урок, но они по-прежнему стояли у металлической чердачной двери.

– Отец мне все рассказал, всю историю нашей семьи.

– То есть ты – настоящий древний египтянин? – переспросил Володя с восхищением. – Вот это да! Чего ты тогда страдаешь-то?! Этим гордиться надо, понял? На Ти-Ви выступать. Ты, может, родственник фараонам.

– Нет, – и Шурка помотал головой. – Мы – из феллахов, из крестьян то есть. А прадедушка захотел стать моряком, приплыл в Одессу и там женился на русской. И в гражданскую войну был кавалеристом.

– Колоссально! – сказал Володя с восхищением. – Вот это – история. Древний египтянин – кавалерист. Он за кого был – за Буденного или за этого, Деникина?

– Отец сам не знает. Знает, что кавалеристом.

* * *

На урок они, конечно, опоздали. А после школы Володя понес эту новость старшему другу, Анатолию. Тем более, что Анатолий был главным Шуркиным спасителем.

– А Шурка Абуалиев – по-научному копт, – сообщил он таинственным голосом, – древний египтянин. Он мне сам об этом сказал.

Володя ждал, что Анатолий удивится, но тот спокойно проговорил:

– Такой же древний египтянин, как ты – древний славянин. Мы, если разбираться, все происходим от древних людей.

– А его кое-кто евреем считает или черным.

– И что?

– Я им всем буду говорить, что он не черный, а копт.

– А что, если бы еврей или, как это – лицо кавказской национальности, так плохо?

– Конечно, плохо! Чего в этом хорошего.

– Балда ты, оказывается, Вовик! – удивился Анатолий. – Говорим с тобой, говорим, а самое главное ты не усек. Ты что,

всерьез так думаешь, что еврей и чеченец хуже египтянина и русского, или только придуриваешься?

– Не знаю, – смутился Володя.

– Сам подумай, если бы Шурка оказался не коптом, а грузинском или евреем, он что – сразу бы стал хуже?

– Нет, конечно.

– Ты это запомни на будущее: если где услышишь человека, который убеждает, что его нация – самая красивая, самая добрая и самая умная, сразу высекай, что этот вшивый оратор или полный идиот, или политический жулик.

Глава восьмая

Раньше многое было по-другому, не так, как сейчас, в пятом классе. Например, тогда Володя влюблялся каждую неделю, а иногда и по несколько раз в день. И в разных девочек. Кто на него посмотрит внимательней или нечаянно ему улыбнется, в тех и влюбится... А сейчас, в пятом классе, Володя вовсе влюбляться перестал. И удивлялся – чего это взрослые вокруг него как будто с ума посходили.

Уже месяц милиционер дежурит около их парадной, мерзнет на ветру, ждет маму и каждый день – с новым букетом. Мама сначала букеты эти не брала, гнала милиционера прочь, но однажды цветы пожалела – очень были красивые, редкого оттенка.

– Дамский угодник несчастный, потому в городе столько жулья и развелось, что милиция на свиданиях торчит, – ворчала мама, аккуратно подрезая цветы, чтобы поставить их в вазу. – Такую красоту ведь не выбросишь! – оправдывалась она перед Володей.

И постепенно с того дня их квартира стала все больше походить на оранжерею или цветочный магазин. Скоро цветы стояли всюду – в банках из-под зеленого горошка, в молочных пакетах, в бидоне. И милиционер продолжал ежедневно приносить новые.

Эти цветы Володе очень пригодились. Для Анатолия и Зинаиды.

Зинаиду Володя увидел в воскресенье утром, в булочной.

– Ты что такой грустный, Вовик? – спросила Зинаида, и сама печально вздохнула.

– Я не грустный, – удивился Володя и чуть не добавил, – это ты грустная.

Но выглядела Зинаида при этом так красиво, что Володя, если бы он был взрослый, как Анатолий, наверно, на ней бы женился. Обязательно бы женился! Анатолий же лишь вспоминал про нее изредка, потому что считал, что главное для мужчины – любимое дело. Так он недавно объяснил Володе. И дел у Анатолия, в самом деле, было сейчас много.

Они получили в булочной хлеб и вышли на улицу. Теперь Зинаиде надо было налево, а Володе – направо.

И Зинаида вдруг положила Володе руку на плечо.

– Что-то ты мне давно про Анатолия не рассказывал. Ну как вы там, часто про меня разговариваете? Только честно! – она пыталась спрашивать весело, а получилось грустно.

И Володе так жалко ее стало. Красивую и печальную Зинаиду.

– Часто! – произнес он вполне искренне. – Вчера как раз он меня пошел провожать и опять разговаривали.

– Честно? – обрадовалась Зинаида, как маленькая. – Честно-честно? А что он говорил?

Ну, про разное... – придумать, о чем был разговор, оказалось не так-то просто. – Ну, что он с тобой в Эрмитаж хочет пойти... Только боится, вдруг ты не согласишься.

– В Эрмитаж? – удивилась Зинаида. – Ну да! Конечно, в Эрмитаж! Он меня звал еще в восьмом классе! А я его обманула. Володь, ты только не говори Анатолию, ладно! Я же глупая была девчонка, Володя! Я же ничего не понимала! Ты ему намекни, что я каждый день себя проклиная за те годы. Я очень хочу пойти с ним в Эрмитаж. Очень! Володя, намекнешь?

Володя Зинаиде эту глупость про Эрмитаж сочинил, а в результате получилась совсем не глупость.

В понедельник, только Володя успел прийти из школы и разогреть суп, как позвонил Анатолий. Голос у Анатолия был смущенный.

– Я через час, понимаешь, должен с Зинаидой встретиться, около Эрмитажа. Обегал кругом – ни одного цветочка. Не видел, на нашей улице в цветочном киоске что-нибудь есть?

Смешно! С какой стати Володя, проходя по улице, стал бы отмечать – есть в киоске цветы или нет. Зато в квартире цветов было навалом.

– Есть! Есть цветы! – закричал Володя. – Какие хочешь! Я тебе сейчас привезу, к Эрмитажу!

Он быстро собрал все цветы, какие были в комнате. Получился огромный букет. Володя с трудом завернул его в две газеты.

* * *

С этим букетом он едва втиснулся в троллейбус. На него давили, его толкали со всех сторон и легко могли изломать цветы. Володя оберегал букет изо всех сил. Наконец, его прижали к заднему сиденью.

Там, у окна, сидела девочка, а рядом – женщина, может быть, девочкина мать, и лица их отчего-то показались знакомыми.

– Мальчик, давай цветы нам, – и женщина улыбнулась Володе, – мы едем до кольца, подержим.

И девочка тоже ему улыбнулась. У женщины на коленях была большая сумка. Она взяла Володиные цветы и протянула их дочке.

Тут Володя вспомнил их обеих, понял, почему их лица ему знакомы.

Это же была его сестра! Да-да! Если бы не цветы, он бы, возможно, и не догадался. А тогда на кладбище у мамы тоже был большой букет, завернутый в газету.

Он часто думал о том, что где-то в городе живет его сестра и даже не догадывается о нем, о том, что он существует на свете. И если они когда-нибудь нечаянно встретятся, он даже намекнуть ей об этом не имеет права, о том, что он – ее брат. Так сказала когда-то мама, и он хорошо помнил ее слова.

А сейчас Володя стоит со своей сестрой рядом. Она держит его цветы и по-прежнему ни о чем не догадывается.

Если бы не Анатолий около Эрмитажа, Володя бы так и ехал рядом с нею до конца и незаметно ее рассматривал, а потом бы узнал, где она живет, тайно проводив их до дома. И подружился бы с помощью какой-нибудь хитрости. И стал бы ей во всем помогать. Всю жизнь, до смерти.

...Но нет. Троллейбус остановился напротив Эрмитажа, Володе надо было быстро сходить.

Он взял букет из рук сестры, тихо, почти не поднимая глаз, сказал ей спасибо и двинулся к выходу. Но в последний момент снова повернулся к ней, выхватил из букета самый большой красивый цветок и протянул ей. Она растерянно его взяла, а он тут же выпрыгнул из троллейбуса.

Троллейбус поехал дальше, и Володя увидел, как его сестра удивленно смотрит на него через окно, по-прежнему ни о чем не догадываясь.

* * *

Анатолия Володя увидел издалека. Анатолий тоже его высмотрел, радостно взмахнул рукой и зашагал навстречу. А потом вдруг остановился испуганно, уставившись на огромный букет.

– Ты что, с ума сошел? Я же просил цветочек, один. Это ты сколько денег угрохал! Мне теперь с тобой год расплачиваться.

Володя хотел объяснить, что цветы – задаром, потому что милицейские, но, к счастью, только проговорил:

– Да это так, задаром, подарок.

– Ладно, разберемся потом, – и Анатолий нетерпеливо оглянулся. – Спасибо тебе, Вовик, ты – спаситель мой. Поезжай домой, а вечером – разберемся.

В голосе Анатолия почувствовал Володя то же самое отчуждение, которое уже было когда-то в давние времена. Он, первоклассник Володя, стоял тогда рядом с огромным Анатолием, а тот все ждал и ждал мучительницу свою Зинаиду. Неужели эти времена повторяются снова!

– Анатолий! Вовик! – послышался от набережной, от моста, зов Зинаиды.

Она быстро шла к ним, почти бежала в полурасстегнутой куртке, с развевающимся шарфом. И Анатолий с букетом в руках тоже бросился к ней, наперерез машинам.

А он, Вовик, остался. Он даже не стал смотреть, как они встретились, а медленно пошел к троллейбусной остановке.

Он был не нужен им.

* * *

А вечером мама вошла в дом с новым букетом. И неожиданно спросила:

– Вовка, а где цветы? Куда цветы делись? Мне же их подарили.

Не думал он, что мама станет переживать из-за милицеских букетов. Сама ругала этого милицкого майора, а теперь переживает.

– Ты их что, выбросил? Неужели ты их выбросил?

И Володя согласно кивнул. Не объяснить же, что теперь букеты стоят дома у Зинаиды.

– Вовик, Вовик, что ты наделал! – мама почти плакала. – А я пригласила его в гости...

Он придет, и как я ему объясню, куда дела цветы... Ладно, – и мама протянула ему деньги. – Сходи, погуляй. Купи себе там мороженого какого-нибудь.

Так получалось, что он второй раз за день становился ненужным. Даже собственной матери.

Зато Шурке Абуалиеву Володя был нужен. Очень.

Глава девятая

Володя и раньше видел в школе этого семиклассника. На переменах семиклассник почти всегда разговаривал по сотовому и чаще был не один, с приятелями.

Однажды Шурка остался в школе, делал лабораторные работы по химии в химическом кабинете за седьмой класс, и Володя пошел домой один. Был конец апреля, солнце приятно грело лоб и щеки, и Володя шел навстречу ему, зажмурившись. Как будто экстрасенс какой – глаза закрыты, а не спотыкается. На самом-то деле он смотрел сквозь тоненькие щелки. И вдруг его кто-то сбоку спросил:

– Что, со своим Хачиком больше не ходишь?

Володя открыл глаза и увидел семиклассника.

– С кем? – не понял он.

– С этим, чучмекским киндервудом.

Семиклассник смотрел на Володю как-то чересчур жестко, так что от этого взгляда Володе захотелось отвернуться или сказать что-нибудь плохое про Шурку. Но Володя взгляду не подчинился.

– Почему? Хожу, – проговорил он и упрямо не отвел глаза.

– А ты сам-то кто? Русский?

– Русский.

– Так-так. Это еще надо проверить, – сказал семиклассник многозначительно и отошел.

Такой разговор был недавно, а сегодня Володя услышал разговор другой. В перемену он стоял в коридоре у окна, спиной ко всем и неожиданно услышал:

– Ты сегодня куда?

– А никуда. Опустим там одного. Киндервуда.

– Из пятого, что ли? Который с десятиклассниками на олимпиаду лезет?

– Ага, чтоб не нарывался. Он как раз мимо забора ходит. Землю из-под собак поест...

– Так и я с тобой...

Володя продолжал стоять не оборачиваясь. Одного из говорящих он чувствовал даже спиной. Это был тот самый, семиклассник с волчьей улыбкой и сотовым телефоном.

О ком они говорили, было понятно сразу. Из пятиклассников только Шурка участвовал в математической олимпиаде и даже там победил.

Они шли домой, и Шурка ни о чем не догадывался.

– С тобой бывает так: подходишь к окну, видишь небо, солнце или звезды, и вдруг чувствуешь, что родился для великого дела, для всего мира. Ты такое чувствуешь? Тайные силы?

Только они где-то прячутся, внутри... Чувствуешь такое? – допрашивал Шурка.

– Не знаю, – отвечал Володя с сомнением.

Хотя ему тоже стало иногда казаться, что растет он не просто так, а для чего-то необыкновенного. Только бы знать – для чего. Здорово было бы, например, спасти человечество от космической катастрофы. Или хотя бы просто – кого-нибудь спасти. А то какое-нибудь открытие совершить.

Они шли по улице, и Шурка все говорил, говорил, и не догадывался, какая его подстерегает опасность. Что через несколько минут его могут ткнуть носом в вонючую землю там, где выгуливают собак, и заставить эту землю есть.

Но только этого не будет, потому что вместо Шурки на заброшенную стройку, за забор, пойдет Володя.

Так он решил и так сделает. Он недавно в книге прочитал, что еще в прошлые века, если полагалось драться на дуэли раненому, слабому или больному, то вместо него выходил друг. И принимал бой.

Только бы Шурка ни о чем не догадался. А с Володей им будет не так-то просто управиться.

– Ты чего больше всего боишься? – спрашивал Шурка. И сам отвечал: – А я больше всего боюсь, что меня по голове ударят нечаянно или сам ударюсь, и мыслей лишусь. Потому что думать – это самое главное счастье. «Я мыслю – значит, я существую». Ноги или руки там сломаются – пускай, только бы не голова!

И тут Володя его перебил:

– Я забыл, тебя же Анатолий просил зайти, прямо сейчас. Ты ему зачем-то срочно нужен. Он мне утром, до школы, звонил.

– Я? – удивился Шурка. – Зачем?

– Не знаю, пусть, сказал, немедленно после школы ко мне.

– А ты?

– Он тебя одного звал, так и сказал: пусть приходит один.

Шурка поверил и пошел в противоположную от забора сторону. Володя постоял немного на углу, посмотрел, как он уходит, а потом свернул к заброшенной стройке.

Там, за дырявым забором, валялись пыльные куски бетона, ржавые гнутые трубы и был утоптаный кусок земли, куда вечером со всей улицы приводили гулять собак. Володя и раньше время от времени видел там семиклассника с компанией, когда провожал Шурку домой. Эту компанию многие побаивались, старались незаметно обойти их стороной.

А теперь Володя сам шел к ним.

Семиклассника с жестким взглядом он увидел сразу. Вместе с ним были еще двое – высокий, с румяными щеками, и другой, понурый, почему-то всегда уныло смотрящий вниз.

Семиклассник уже издали улыбался ему, только эта улыбка опять напоминала волчью. А когда Володя молча приблизился и остановился перед ними, семиклассник, продолжая улыбаться, сказал сквозь зубы:

– Вали отсюда! Вали, пока по мордасам не схватил.

Володя отрицательно мотнул головой.

– Я вместо Шурки, – ему вдруг стало не страшно, а легко, даже весело.

– Вместо кого? – переспросил высокий, с румяными щеками. – Он тебе доверенность выдал, что ли?

– Ага, доверенность землю зубами грызть, – подтвердил понурый.

– Стой, – перебил их семиклассник и снова повернулся к Володе.

– Нам тебя не надо. Ты нам этого, киндервуда, приводи, понял? Значит так, сумку оставь, а киндервуда приводи. Отпустим его? – кивнул он своим, и приблизил к Володе лицо, которое опять улыбнулось волчьей улыбкой. – Приведешь – будешь жить с нами, понял?

Улыбка все приближалась, напознала на Володю. Володя даже чуть попятился, а потом медленно, будто во сне, размахнулся и несильно ударил ладонью в лицо семикласснику, в волчью его улыбку.

– Я с вами жить не буду, я вас гнать буду! – выкрикнул он и тут же почувствовал удар сбоку, там стоял розовощекий.

А дальше началась свалка, когда толком не знаешь, чью отбиваешь руку и кто тебя бьет сзади, когда крутишься между всеми

врагами, прикрываешься, отбиваешь удары, нападаешь, и кулаки, ноги, плечи – действуют автоматически. И Володе уже казалось, что это никогда не кончится, и уже из носа густо капала кровь, и руки были то ли в этой своей крови, то ли в чужой.

И вдруг откуда-то он услышал близкий Шуркин зов:

– Вовик! Вовик, я иду!

Володя приостановился, повернулся на этот зов. И в это мгновение небо озарилось яркой космической вспышкой, а потом рассыпалось на тысячи искр и все вокруг потемнело.

Дальше он уже ничего про себя не помнил, не знал. Ни Шуркиных криков, ни милицейского свистка, ни топота ног...

* * *

Ему было никак не проснуться. Он слышал рядом голоса. Порой эти голоса говорили про него, про Володю, даже были знакомыми. Только он не различал их. Услышит на минуту, почувствует страшную боль внутри головы и снова исчезнет, как будто и не существует.

Он проснулся оттого, что кто-то рядом плакал. И открыл глаза. Вокруг были чужие стены, сам он лежал на чужой кровати, в комнате было темно, а в окно светил фонарь. Рядом, на другой кровати, почему-то плакал Шурка, и голова его была забинтована.

– Шурка, ты чего? – спросил Володя и удивился слабости своего голоса. И тут же по запахам догадался – в больнице они, вот где. – Шурка, мы в больнице, что ли? Под машину, что ли, попали? Ты чего, Шурка?

А Шурка повел себя странно. Он еще раз всхлипнул, как бы по инерции, а потом приподнялся, посмотрел на Володю, как бы не веря, что это он, и потому вглядываясь, и вдруг закричал необыкновенно радостным голосом:

– Анатолий, Анатолий, он в себя пришел, зови дежурного!

И тут же в темном углу кто-то вскочил со стула, едва не упав, и зажег свет. Это был Анатолий.

А Шурка, смеясь, повторял:

– Я же говорил, что он сегодня оживет! Правда, Володя, ты ведь ожил, ожил?

А у Володи снова от этих криков, шума, внезапного электрического света страшно заболела голова, но чтобы обрадовать и Шурку и Анатолия, он насильно улыбнулся и подтвердил:

– Я ожил, да. Я ожил.

Он лежал, прикрыв глаза, а Шурка рассказывал ему про какую-то драку, о которой он, Володя, совсем ничего не помнил.

– Ты же меня специально услал, да? Специально? Я сначала не догадался, а потом понял. И сразу назад. Разве я могу тебя бросить. А ты уже был там, один против трех. Я подбегаю, а они тебя – трубой. И мне тоже – этой же трубой слегка вмазали, видишь? – и он с гордостью показал на повязку.

– Потом, потом расскажешь, – сказал Анатолий, увидев, что Володя снова лежит с прикрытыми глазами. – Напугал ты нас всех. Как ты сейчас, Вовик?

– Хорошо, – Володя едва прорвался сквозь жуткую боль в голове.

– Мы тут около тебя все передержурили, и мама твоя, и Зинаида, и майор. Ты больше так сознание не теряй, не уходи. Слышишь? Ты нам всем нужен. Слышишь? Ты нужен всем!

А Володя как раз собрался снова уйти, провалиться в темноту, потому что невозможно было дальше терпеть эту боль в голове. Но Анатолий взял его за руку, и от его руки шли тепло и покой. Покой постепенно стал вытеснять боль, и скоро Володя задремал. А когда вошел встревоженный врач, Анатолий тихо объяснил ему:

– Он очнулся, а сейчас просто спит. Теперь уж все будет в порядке.

– Я же говорил, что выживет, – радостно проговорил врач. – Лобачевским, может, и не станет, но жить будет.

Эти слова донеслись до Володи, словно из тумана.

«А я и не собирался Лобачевским. Это Шурке надо, а мне – просто человеком», – подумал он и хотел даже сказать вслух, но вместо этого окончательно провалился в сон.

Альманах был уже подготовлен к печати, когда в середине августа из Донецка пришла ещё одна траурная весть: не дожив двух недель до своего 53-летия, скоропостижно скончалась замечательный поэт, частый и всегда желанный гость «Семейки»

Наталья Хаткина.

Наташа всегда много и плодотворно работала, хотя и чувствовала себя в последнее время очень плохо. От советов друзей и близких обратиться на себя внимание отмахивалась...

Открываю наугад (!) книгу её избранных стихов, и выпадает стихотворение, где, как это часто бывает у больших поэтов, всё угадано-предсказано – вплоть до месяца ухода...



С милым рай

1

За то, что я тебя люблю,
поставят нам шалаш в раю –
тропическом, языческом,
вакхическом раю.

Не соблазнюсь на Евин грех
Я расколю большой орех.
Из плошки молока налью
И напою змею.

Змея – не змей. Она проста,
Она глядит из-под куста,
и не сулит нам ни черта,
и просто просит пить.
Прости-прощай, родной Содом!
Меня познания плодом
уже не соблазнить.

Был жалок хлеб и солон пот,
и в муках продолжался род,
и глотку драл познания плод
колючей коркой зла.